Я вас лублу!

Автор:
Дина Рубина

Я вас лублу!

Дина Ильинична Рубина

На солнечной стороне

Нет места более священного, чем Иерусалим – «ликующий вопль тысяч и тысяч глоток», «неистовый жар молитв, жалоб и клятв», «тугая котомка» запахов: ладана – христианского квартала, рыбы – мусульманского, свежестиранного белья – еврейского, хлебного – армянского. Жить в этом городе непросто, потому что он, по словам Дины Рубиной, – «вершина трагедии». Но что было бы в жизни писателя, если бы в ней не случился Иерусалим? В конце 1990-х Дина Рубина вместе с семьей переезжает в Израиль. И с этого момента в жизни писателя оказываются две родины: одна – по праву крови, вторая – по праву языка. О трудностях и радостях срастания с новой землей, о невероятных перипетиях судьбы своих новых соотечественников, о гении места Иерусалима – повести, рассказы и эссе данной книги.

Дина Рубина

Я вас лублу!

© Laurin Rinder, Chipmunk131, Semiletava Hanna,

Ala Sharahlazava / Shutterstock.com Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Laurin Rinder, Chipmunk131, Semiletava Hanna, Ala Sharahlazava / Shutterstock.com Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Д. Рубина, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

?

Во вратах твоих

Посвящается БОРЕ

Сказал Эсав Амалеку: «Сколько раз я пытался убить Яакова, но не был дан он в мою руку. Теперь ты направь мысль свою, чтобы осуществить мою месть!» Ответил Амалек: «Как смогу я одолеть его!» Сказал Эсав: «Расскажу я тебе о законах их, и когда увидишь, что пренебрегают они ими, тогда нападай».

Мидраш

Останавливались ноги наши во вратах твоих, Иерусалим…

Псалом

В некоторых африканских племенах верх бесстыдства считается хождение с бюстгальтером…

Текст, не прошедший редактуры

Редактором в фирму «Тим’ак» меня пристроил поэт Гриша Сапожников, славный парень лет пятидесяти, уютно сочетавший в себе православное пьянство с ортодоксальным иудаизмом. (Впрочем, в Иерусалиме я встречала и более диковинные сочетания, тем паче что иудаизм пьянства не исключает, а, напротив, включает в систему общееврейских радостей, у нас, помилуйте, и праздники есть, в которые сам Господь велел напиваться до соплей…)

А Гришка, Гриша Сапожников, носил еще одно имя – Цви бен Нахум; это здесь случается со многими. Многие по приезде начинают раскапывать посконно-иудейские свои корни. Хотя есть и такие, кто предпочитает доживать под незамысловатой российской фамилией Рабинович.

А вот Гриша, повторяю, как-то ухитрился соединить в себе московское прошлое с крутым хасидизмом – возможно, при помощи беспробудного пьянства.

Он работал в одном из издательств, выпускающих книги по иудаизму на русском языке.

Из-за феноменальной его грамотности Гришу в издательстве терпели. Например, строгий тихий рав Бернштейн, чей стол в тесной комнатенке стоял впритык к Гришиному, вынужден был терпеть запах перегара, налитые преувеличенной печалью Гришины глаза и, главное, – его драную майку. Дело в том, что по известной причине Грише всегда было жарко.

Как ни зайдешь к нему в издательство – он сидит себе в майке, отдувается, а на стене над ним висит на гвоздике малый талит. (Я объясняю для тех, кто не знает: это нечто вроде длинного полотенца с отверстием для головы посередине, с концов которого свисают длинные нити – цицит.)

– Погоди, я оденусь, – обычно говорил Гриша, снимая с гвоздика талит и, как лошадь в хомут, продевая в отверстие голову. При этом его пухлые плечи с кустиками волос оставались на виду. Меня-то, как человека циничного, обнаженные Гришины плечи смутить не могли, а вот раву Бернштейну явно становилось не по себе, тем более что, беседуя, Гриша то и дело обтирал подолом талита потную шею движением буфетчика, обтирающего шею подолом фартука.

– Запиши телефон, – сказал Гриша, отдуваясь и обтирая шею, – там нужен редактор, это издательская хевра. Спросишь Яшу Христианского.

– Какого? – уточнила я преданно.

Он достал из стола бутылку водки, налил в бумажный стаканчик и выпил.

– Да нет, это фамилия – Христианский, – крякнув, пояснил Гриша. – Кстати, он пишет роман «Топчан», так что боже тебя упаси проговориться, что в Союзе у тебя выходили книги и вообще что ты чего-то стоишь. Ты ничего не стоишь. Ты – просто дамочка. Старательная дамочка, набитая соломой. Понятно?

– Понятно, – сказала я. – Спасибо, Гриша.

– Рано благодарить. Он тебе устроит нечто вроде проверки. Сцепи зубы и стерпи. Его все знают за жуткую…

Рав Бернштейн кашлянул, и Гриша, запнувшись, закончил:

– Одним словом, оглядишься.

Когда рав Бернштейн вышел из комнатки, Гриша обтер шею подолом талита и сказал:

– Тут и так жарко, а они еще окна загерметизировали.

Окна были исполосованы клейкой лентой вдоль и поперек. Как у меня дома.

– Гриш, война будет? – спросила я.

Цви бен Нахум налил водки в бумажный стакан, глотанул и сказал:

– А хер ее знает…

Накануне войны улицей темной и тесной пробиралась я в поисках восточного дворца с фонтаном и пальмой.

(Позже, при свете дня, улица оказалась самой обыкновенной, не широкой, но и не узкой, автобусы ходили в обе стороны. Что это было тогда – эта сдавленность восприятия, этот спазм воображения, это сжатие сердечной мышцы – в ожидании войны, дня за три, кажется?)

Объясняли, что справа должен тянуться зеленый забор, потом какая-то стройка, повернуть налево и войти во двор.

Кой черт забор, да еще зеленый – поди разберись в этой тьме! – я поминутно спотыкалась об арматуру, торчащую из земли, и поэтому поняла, что забор кончился и началась стройка…

До сих пор в слове «война» заключался для меня Великий Отечественный смысл – школьная программа, наложенная на биографии родителей и расстрелянных родственников. Но поскольку Отечество накренилось, сдвинулось и, отразившись пьяной рожей в тысяче осколков разбитого этой же рожей зеркала, полетело в тартарары, неясно стало – как быть со старыми смыслами и чего ждать незащищенной коже и слизистой глаз, носа, рта. (Противогазы нам уже выдали. Борис составил их аккуратно на антресолях хозяйского шкафа.)

Итак, накануне войны улицей темной и тесной, как тяжкий путь к свету из материнской утробы (она и называлась соответственно – «Рахель имену», что в переводе на русский означает «Рахель – наша мама»), я пробиралась в поисках восточного дворца с фонтаном и пальмой.

Когда-то, до Шестидневной войны, во дворце размещалось посольство то ли Эфиопии, то ли Зимбабве, а после начала войны эта самая то ли Нигерия, то ли Тунис разорвали дипотношения с нами (с нами? с этими, здесь, ну, с Израилем), и посольство в полном составе драпануло из дворца, оставив фонтан и пальму – на редкость крупный, можно сказать, кинематографический экземпляр, высоченная прямая пальма с мощным волосатым стволом, а вот породу – не скажу, не знаю, в нашей стороне (в нашей? в тамошней, в российской) такого не росло…

В полнейшей уличной тьме здание мавританской архитектуры было тепло освещено изнутри ярким желтым светом, и этот свет падал на большие жесткие листья пальмы, на фонтан, подсвечивая их, словно театральную декорацию.

Я поднялась по внешней, легким полукругом взбегающей на второй этаж лестнице, миновала террасу, толкнула дверь и вошла в очень просторный, почти незаставленный холл. Через стеклянные двери аудиторий видны были юношеские головы в цветных вязаных кипах. Я пошла в боковой коридор, столкнулась с каким-то парнишкой, спросила на плохом своем иврите, где тут читает лекцию рав Карел Маркс, – тот указал на дверь, я постучала и вошла. В этот вечер разбирали тему первой битвы Израиля с Амалеком. Он оказался пылким изящным чехом, этот рав Маркс, – жесты имел округлые, певучие, то и дело вонзая указательный палец куда-то над головой, в потолок.

– Не народ против народа, – с мягким нажимом произносил он и смуглые сильные кисти рук разбрасывал при этом в стороны, как пианист в противоположные концы клавиатуры, расставлял боевыми шатрами друг против друга. – Но Бог против народа! – И плавной дугой указательным пальцем – вверх, в потолок.

Талантливым проповедником был рав Карел Маркс. На иврите говорил достаточно хорошо, хоть и с заметным акцентом. Например, гортанное, на связках «рейш», мягко всхлипывающее у сабр, у него рокотало где-то в носоглотке.

В перерыве все вышли на террасу – там на столике стояли электрический самовар, одноразовые стаканчики, кофе, печенье на тарелке.

– А здесь культурно, – сказал кто-то за моей спиной, – и чисто. Они, по-видимому, к консервативной синагоге принадлежат…

– А я в ортодоксальную иешиву ходил, – ответил на это другой, – так я в жизни столько мяса не ел, сколько там дают. Даже компот с мясом…

Домой возвращалась в автобусе со старостой группы Гедалией – приятным пожилым человеком с лицом симпатичной козы, – кажется, он работал где-то в университетской библиотеке.

Когда миновали район Мошава? Германи?т и автобус въехал на Яффо, ярко освещенную центральную улицу с там и сям бегающими огоньками рекламы над магазинами, стало веселей на душе. И поскольку говорили-то все о том же,

Гедалия вдруг неуверенно улыбнулся в слабую бороду и сказал:

– Не думаю, чтобы бомбили Иерусалим. Здесь все-таки мусульманские святыни.

Я возразила:

– Знаете, как-то перспектива бомбежки Тель-Авива тоже мало радует.

– Конечно, конечно, – он смутился. – И потом, у нас тут горы, а газ, как вам, наверное, известно, стекает и стелется понизу.

– Да, мне известно, – сказала я…

…Первые недели эмиграции показались тяжелой болезнью – брюшным тифом, холерой, с жаром, бредом, да не дома, на своей постели, а в теплушке бешеного поезда, мчащегося черт знает куда. Между тем деятельно занимались делами: отстаивали в нужных очередях к нужным чиновникам, получали пособия, сняли квартиру в хорошем районе – правда, религиозном, да шут с ним, какая разница, даже любопытно… Вот только воду приходилось кипятить в кастрюльке. Наш новый эмалированный чайник сгинул в чудовищной пучине шереметьевской таможни.

Соседи слева подарили нам холодильник, который был, вероятно, старше, чем Страна. Он никогда не отключался, поэтому скалывать лед, выползавший из морозильной камеры, можно было только ледорубом.

Соседка справа в первый же вечер занесла мне халат и израильский флаг. Флаг был стираным, халат – тоже. Сын настаивал, чтобы флаг был немедленно вывешен на нашем балконе.

Едва мы заволокли чемоданы в пустую квартиру и вдохнули запах только-только высохшей побелки, зазвонил телефон.

– Семейство Розенталь? – спросили гортанно в трубке.

– Нет, – ответила я по-русски и, спохватившись, исправилась: – Ло.

В трубке еще что-то спрашивали, я торопливо перебила заученной фразой:

– Простите, я не говорю на иврите… – и повесила трубку.

В тот же день съездили на мебельный склад и привезли оттуда полную машину рухляди: несколько колченогих стульев, две тахты, диван с чужой ножкой, длиннее остальных трех, раскладушку – и огромный обшарпанный канцелярский стол, в котором недоставало трех ящиков. В верхнем ящике этого стола я обнаружила записку на русском: «Не забудь полить цветок»… (Поезд все мчался, мчался – куда? зачем? что будет со всеми нами? Дети каждый день выпрашивали три шекеля и, ошалевшие от здешних супермаркетов, бегали за жвачками.)

Мы же почти перестали говорить друг с другом, оба умолкли, даже не жались один к другому, как перед отъездом из России, когда тревожно было расстаться на час… Я подозревала, что и Борис болеет этой неназываемой болезнью…

В первую ночь мне приснился сон о иерусалимских банях. Я мылась там вместе с «черными». И как в прежних своих тягостных снах о метро, я была, конечно, абсолютно голая, просто до неприличия. Хасиды сурово отводили от меня глаза и яростно намыливали на себе лапсердаки и шляпы. Колебались пейсы, которые светская публика называет «блошиными качелями».

Я проснулась и спросила Бориса:

– В Иерусалиме есть бани?

Он подумал, сказал:

– Наверное… В каких-нибудь отелях… Вообще, бани – это не еврейская забава.

– Почему? – спросила я.

– Видишь ли, возможно, мы всегда предчувствовали тот жар, спаливший половину нации, ту страшную парную…

(Бешеный поезд все мчался, мелькали какие-то пейзажи за окнами – средиземноморские, дивные, картинные – как, вы не были еще на Мертвом

море? – вот где потрясающе красиво… Температурный бред тифозного больного: где я? где я? пить… «Это называется у нас хамсином, – приветливо объясняли мне, – нужно пить как можно больше».)

В первую субботу зашли к нам доброжелательно улыбающиеся соседи, подарили Борису талит и пригласили в синагогу. Вернувшись после трехчасовой молитвы, он повалился на тахту с поломанной ножкой и сказал: для того, чтоб быть евреем, нужно иметь здоровье буйвола, боюсь, мне уже не потянуть…

…Наконец сумасшедший поезд сбавил скорость, и можно было уже различить что-то за окнами его: искусно сделанные парики, похожие на натуральные прически, и густые вьющиеся пейсы, похожие на букли парика; в белой хламиде шел по тротуару царственно прекрасный эфиоп, такой величественно статный, такой слишком настоящий, что даже казался актером, удачно загримированным для роли Отелло; то два хасида, шествующих по Меа Шеарим, напоминали Стасова и Немировича-Данченко, или вдруг ухо выхватывало из радиопередачи: «…выступал хор Главного раввината Армии обороны Израиля…»

…Дом, на последнем этаже которого мы сняли небольшую квартиру, стоял на одном из высоких холмов Рамота, одного из самых высоких районов Иерусалима. С балкона последнего, четвертого этажа такой расстелился вид на город – хоть экскурсии сюда води. По левую руку – гора Скопус вдали с башней университета, по правую – башня знаменитого отеля «Хилтон». Вдали синела кромка Иорданских гор… Ну и так далее…

Дом стоял на холме, выступая углом, – наш балкон, если смотреть снизу, с зеленого косогора, напоминал кафедру. Словом, некая возвышенность присутствовала.

Кстати о возвышенности. Мне кажется, что наличие некоего возвышения не скажу – обусловливает, но располагает к поискам в собственной душе не скажу – вершин, но возвышенностей, да. Так что я вижу прямую зависимость религиозного состояния общества от рельефа местности. Вероятно, с вершин уместнее взывать к Богу.

(Что касается меня, то я всегда знала, что Бог есть. Я говорю не об ощущениях, а о знании. Это при абсолютно атеистическом воспитании в совершенно

атеистической среде. То есть в полном отсутствии Бога. Моя младшая сестра в детстве перед экзаменом по музыке молилась на портрет польского композитора Фредерика Шопена, который висел у нас в комнате. Однажды я подслушала эту молитву. «Шопочка! – жарко шептала моя девятилетняя сестра. – Милый Шопочка, сделай так, чтоб я не ошиблась в пассаже!..» Так что я сразу отметаю все обсуждения этой темы.)

По субботам из соседних квартир доносилось широкое утробное пение. Мелодия напоминала нечто среднее между «Шумел камыш» и «Из-за острова на стрежень». Пели здоровыми кабацкими голосами, в которых чувствовалась полнота жизни.

По проезжей части улицы по двое, по трое неторопливо шли мужчины в синагогу. Белые, с продольными черными полосами талиты спадали с плеч, как плащи испанских грандов.

Графически это было так красиво, что первые несколько недель я поднималась в субботу пораньше, чтоб из окна наблюдать диковинную для меня, такую обычную здесь картину: евреи в талитах шли по улице в соседнюю синагогу…

…Когда вернулась способность видеть и слышать, поезд замедлил ход, пополз, остановился – и обморочно вялые, как после тифа, мы сползли со ступенек на эту землю…

Издательская фирма «Тим’ак», куда послал меня Гриша, арендовала помещение у известной газеты «Ближневосточный курьер». Само здание «Курьера» – серое, приземистое, длинное – напоминало нечто среднее между тюрьмой усиленного режима и курятником. «Тим’ак» арендовал на втором этаже небольшой зал, перегороженный самым идиотским способом на множество маленьких кабинок. Войдя в зал, посетитель попадал как бы в лабиринт и принимался блуждать по кабинкам, хитроумно переходящим одна в другую. И поскольку перегородки были высотой в человеческий рост, то по плывущему над ними головному убору можно было определить с немалой степенью вероятности, кто из заказчиков явился.

– Ну-с, что бы такое вкусненькое вам дать поредактировать?.. – ласково-небрежно спросил Яша, роясь в бумагах на столе. Христианский оказался ортодоксальным иудеем, рыжим, томным, с орлиным носом, внушительной

фигурой, схваченной портупеей (какие носят сотрудники сил безопасности – с кобурой под мышкой), и чрезвычайно инфантильной привычкой пятилетнего бутуза оттягивать большими пальцами ремни портупеи, как помочи. – А, вот хоть это…

Я взяла протянутый им листок с напечатанным на нем следующим машинописным текстом: «…риация. Неотъемлемым правом каждого гражданина Израиля является право быть похороненным за счет государства в течение 24 часов. Если вы желаете быть похороненным рядом с супругом(ой), следует заблаговременно заявить об этом не позднее чем за тридцать дней до похорон…» Далее до конца страницы перечислялись погребальные льготы, положенные каждому гражданину Израиля.

– А… что это? – спросила я несколько обескураженно.

– Какая разница? – улыбнулся Яша. Добрые складочки разбежались вокруг его рыжих глаз. – Неважно! Не за то боролись! Редактируйте, редактируйте…

– Нет, постойте, может, это юмор…

– Ну какой же юмор! – укоризненно возразил он. – Это брошюра министерства абсорбции о правах репатриантов. Выбирайте кабинку по душе. Вот тут работает у нас Катька, там – Рита… Чувствуйте себя комфортно…

Он вышел, а я села в свободную кабинку, достала из сумки ручку и положила перед собой лист.

Первым делом я вычеркнула высокопарное слово «неотъемлемым». Потом вставила слово «покойного» перед словом «гражданина», чтобы у очумевших репатриантов не возникло впечатления, что немедленно по прибытии в аэропорт Бен-Гурион следует воспользоваться правом быть похороненным за счет государства в течение 24 часов. Получилось вот что: «Правом каждого покойного гражданина Израиля является право быть похороненным за счет государства в течение 24 часов». Я содрогнулась и вычеркнула. Написала мелкими буквами сверху: «Правом каждого гражданина Израиля является право в свое время быть…» и так далее. Перечитала и ужаснулась. Решительно вычеркнула все. Вздохнула глубоко и написала: «Если вы умерли, ваше право…» Тьфу!.. Я вспотела… Вычеркнула… Посидела с минуту, написала: «Каждый

гражданин Израиля, умерев в положенный срок, имеет право…» О господи, а если не в положенный? Я вычеркнула все жирно и написала на полях маленькими аккуратными буковками:

«Когда вы умрете, вас похоронят за счет государства в течение 24 часов…»

Сидела, тупо уставившись на эту обнадеживающую фразу, и слушала стрекотание компьютеров в соседних кабинках.

Собственно, я прекрасно понимала, что со мною происходит. Нормальный стресс, повторяла я себе, такое часто бывает с людьми первое время в эмиграции. Например, Сашка Колманович, наш сосед, классный программист, в Союзе работавший над созданием искусственного интеллекта четвертого поколения, недавно проходил тест в какой-то частной фирме по производству компьютерных программ. И последним заданием была просьба нарисовать женщину, обыкновенную женщину. Очумевший от пятичасового теста Сашка нарисовал два треугольника, конус и корень квадратный из какого-то сумасшедшего числа… А это оказался примитивный тест на здоровую сексуальность. Вот и все. Так что после этого рисунка Сашка проходил еще пять дополнительных тестов.

– Рита, Рит… – послышалось из кабинки справа… – Слышь, вчера из России Синайка вернулся…

Слева, продолжая стрекотать на компьютере, медленно спросили:

– Это кто… Синайка?

– Да сосед наш, – воскликнули нетерпеливо справа, – профессор лингвистики, помнишь, я рассказывала – Синай Элиягу Аушвиц. Старенький, основатель кибуцов. Мы его дома Синайкой зовем…

– Ну?

– Вернулся в полном балдеже… «Коммунизм, – говорит, – коммунизм! Кмо кибуц гадоль! Свет – бесплатно, телефон – бесплатно. Коммунизм!» Особенно от Ленинграда в восторге. Пришел к «Авроре», а там на набережной бродячий

оркестрик играет, Синайка спрашивает: «Гимн можете сыграть?» Лабухи говорят, мол, будут доллары – будет гимн. Он им бросил в кепку два доллара, они заиграли «Союз нерушимый республик свободных». Он от восторга чуть не спятил. «А можно, – спрашивает, – я дирижировать буду?» Лабухи великодушные, разрешили… Представляешь картинку, Рит?

Слева прекратили стрекотать, помолчали и проговорили задумчиво:

– В этом есть своеобразный сюр: в Ленинграде, на фоне «Авроры», под управлением старого израильского профессора бродячий оркестрик играет гимн подыхающей империи…

Мне так понравились сразу эти двое, этот московский, такой знакомый ироничный говорок людей моего круга. Очень захотелось остаться здесь работать. Хоть за три копейки. Хоть за тысячу шекелей, только бы «со своими».

Я вычеркнула все, что написала прежде, хмыкнула и, понимая, что все равно все пропало, застрочила: «Не приведи Господи, конечно, но если вы помрете – не волнуйтесь. Таки вас похоронят, и довольно быстро – дольше двадцати четырех часов не позволят валяться в таком виде на Святой земле. Вашим родным не придется тратиться – государство Израиль обслужит вас по первому разряду: катафалк, кадиш, то-се – словом, не обидят, вы останетесь довольны. Если же вы так привязаны к своей супруге(гу), что желаете и после смерти лежать с нею рядом, вам следует заблаговременно придушить ее, не позднее чем за 30 дней до своих похорон».

Тут над барьером кабинки справа появилась голова, как мне показалось, пятнадцатилетнего мальчика. Круглые черные глаза с оценивающим любопытством оглядели меня.

– Здрасьте, – сказали мне. – Вы к нам редактором пробуетесь?

Я молча махнула рукой.

– А, понятно, похороны редактировать дал?

– Кать… Ты поосторожней, – послышалось слева. – Он появится сейчас.

– Да у них сейчас минха, – отмахнулась та, что оказалась Катькой. Имя ей очень шло.

– Он всем про похороны дает? – спросила я.

– Ага, – отозвалась она.

– А зачем? – спросила я. – Ведь с этим текстом ничего невозможно сделать.

– Да он его сам придумал, – объяснила Катька охотно и просто. – Развлекается…

Тотчас рядом с Катькиной головой возникла другая – коротко стриженная курчавая голова борца с удивительно хладнокровным выражением глаз. Обычно такое выражение глаз бывает у людей с хорошо развитым чувством юмора.
Я догадалась, что это вторая сотрудница, Рита.

– Хотите совет? – спросила она. – Вы умеете лицемерить?

– Конечно! – воскликнула я.

– Так вот… – Она говорила медленно, словно вдумываясь в какое-то дополнительное значение слов. – Сейчас Христианский выведет вас гулять…

– В каком смысле?

– По улицам… – невозмутимо уточнила она. – И станет рассказывать про свой роман…

– С женщиной? – спросила я.

– Он будет рассказывать о своем романе «Топчан», – пояснила Рита. – Так вот… Хвалите.

– Помилуйте, как же я могу хвалить, если не читала?

– Ну, бросьте, – Рита поморщилась, словно я брякнула несусветную глупость. – А еще хвастаетесь, что умеете лицемерить. Скажите, что замысел гениален, что сюжетные повороты неслыханно новые; и главное – обязательно просите, умоляйте дать почитать. Просто хватайте за рукава и ползайте на коленях.

Хлопнула дверь, и над барьерами кабинок поплыла черная кипа Христианского. Он оживленно посвистывал. Тут же Катьку и Риту сдуло по кабинкам, застрекотали компьютеры.

– Ну, как ваши дела? – спросил Яша приветливо, заглядывая ко мне. – Знаете что, бросьте вы это. Не за то боролись. Здесь такая духота, а на улице благодать, теплынь. Не хотите ли пройтись минут десять? Заодно и поговорим…

Я надела куртку, мы вышли и вдоль забора какой-то стройки, мимо ряда цветочных магазинчиков и кондитерских пошли ходить туда и обратно по тротуару. Я шла рядом с неумолкающим Христианским и не переставала удивляться точности Ритиного сценария. Правда, начал Яша почему-то не с художественной прозы своей, а с журнала, который он сам писал и сам же издавал, назывался журнал «Дерзновение».

(Вообще почти сразу по приезде в Страну я обратила внимание на то, что многие газеты и журналы носят здесь такие вот, с печатью тяжелого национального темперамента, названия: «Устремление», например, «Прозрение», «Напряжение», «Вознесение» – нет, пожалуй, последнее название не из той, как говорится, оперы.)

Так вот, сначала Яша пересказывал мне свою статью из свежего номера журнала «Дерзновение», в которой он исследовал и сравнивал исторический взгляд на эпоху правления царя Персии Кира: с одной стороны Иосифа Флавия и с другой стороны – комментатора ТАНАХа – Раши.

– Вот, посудите сами, – журчал надо мной Яшин голос, – Флавий пишет, что от начала царствования Кира до воцарения Антиоха Эвпатора, сына Антиоха Эпифана, прошло 414 лет. Поскольку Эпифан умер на 149-м году правления династии Селевкидов, на долю Персидской империи остается 414 минус 149 плюс – посчитайте, посчитайте! – плюс 18 лет, итого – 247 лет, что, по существу, то же самое, ибо любой год, завершающий упомянутые промежутки времени, может оказаться неполным. Но не за то боролись! Итак, примем для простоты

Что это, думала я, кивая головой и изображая вдумчивое внимание, он действительно полагает, что я подсчитываю в уме годы правления династии Селевкидов, или в благоговейный трепет вгоняет? А может, он только три эти абзаца с цифрами насчет Селевкидов и выучил и всех претендентов на должность редактора уводит гулять и тут пугает до смерти?

Но нет, – Яша сыпал и сыпал династиями, цифрами, именами из ТАНАХа и Флавия…

– Кстати, имя персидского сановника самарийского происхождения, посланного Дарием, последним царем Персии, в Самарию, представляется мне подозрительно знакомым. Так и есть! Через всю «Книгу Нехемии» проходит самаритянин Санбаллат, изо всех сил мешающий евреям восстанавливать Иерусалим…

…Я смотрела искоса на далекие покатые холмы Иудеи, словно бы накрытые шкурой какого-то гигантского животного, видавшие и Санбаллата, и Нехемию, и многих других, в том числе и вот прогуливающихся меня и Яшу, смотрела и думала, что день потерян безвозвратно.

Потом мы зашли в кондитерскую, и Христианский угостил меня пирожным. К этому времени он уже перешел от исторического журнала к своему роману «Топчан», и я, по Ритиному совету, вставляла – не скажу восхищенные, к этому моменту я порядком притомилась, – но поощрительные реплики вроде «очень интересный ход», «прекрасно найдено». Христианский по виду совсем не устал, а, наоборот, вдохновлялся все больше и больше, излагал гибкие свои концепции, хитроумные ходы в сюжете. Талантливо говорил. Говорил очень талантливо, то есть, по всем признакам и в соответствии с моим житейским опытом, вряд ли мог оказаться талантливым писателем…

Когда мы возвращались в здание «Ближневосточного курьера», я не выдержала и спросила устало:

– А вам действительно нужен редактор?

Яша удивился, встрепенулся, стал говорить о грандиозных планах фирмы «Тим’ак», об огромном количестве заказов, о том, как трудно найти единомышленников, преданных людей…

…Трижды еще я ходила в «Ближневосточный курьер», на второй этаж. Мариновал меня Христианский. Выводил гулять и там долго, витиевато и красочно говорил – и о чем только не говорил! Редактировать он мне больше ничего не давал, о листке с похоронными льготами для граждан Страны словно бы забыл. Я не понимала – чего он хочет от меня, на какой предмет экзаменует? Наконец, когда после четвертого такого променада мы подходили к серому промышленно-угрюмому зданию «Курьера» и я уже дала себе слово, что больше не приду выслушивать Яшины рефераты, на пятой, кажется, ступеньке он обернулся и сказал:

– Ну что ж, давайте попробуем поработать. Больше двух тысяч в месяц я дать вам не могу, и учтите – работы будет много, и весьма разнообразной.

После упомянутой им помесячной суммы я сглотнула и заставила себя помолчать (это был период, когда за десять шекелей в час я иногда мыла виллы богатых израильтян).

– Надеюсь, проезд на работу вы оплачиваете? – наконец спросила я строго.

– Ну, разумеется, – обронил он небрежно. – В конце месяца сдадите проездной секретарше, Наоми… Правда, по моим расчетам, послезавтра американцы начнут войну, в связи с чем режим работы у нас несколько изменится…

?

Название нашей фирмы – «Тим’ак» – было аббревиатурой ивритских слов, означающих «Спасение заблудших».

Мы спасали заблудших ежедневно с десяти и до шести, кроме пятницы и субботы. По четвергам спасение заблудших приобретало размах грандиозных спасательных работ: в этот день сдавался очередной номер газеты «Привет, суббота!», которая являлась главным заказом, выполняемым нашей фирмой. Дня через три-четыре я огляделась и постепенно, не без помощи Катьки и Риты,

стала ориентироваться в происходящем.

Хевра «Тим’ак» финансировалась канадским миллионером Бромбардтом, но существовала под покровительством Всемирного еврейского конгресса, того самого, что представляет в мире интересы евреев. Когда-то годах в тридцатых-сороковых он был реальной силой, но со времени основания государства Израиль, которое с тех пор само недурно представляло интересы евреев, знаменитый конгресс некоторым образом потускнел, впрочем, деньжищами, по словам Риты, ворочал немалыми и пригревал огромное количество всевозможных дочерних и внучатых организаций, ответвлений от этих организаций и просто приблудных компаний вроде нашей хевры…

Сначала я путалась в хозяевах, не понимая, например, зачем канадскому миллионеру нужна в Израиле издательская фирма, выпускающая книги на русском языке. Но когда выяснилось, что Бромбардт и сам является членом Всемирного еврейского конгресса, я представила, как несчастному, ни ухом ни рылом не сведущему в деле русскоязычного книжного бизнеса в Израиле миллионеру выкручивают руки акулы-конгрессмены, заставляя купить акции нашей фирмы, и как он отбивается и лягается, но не может отбиться, ибо связан с этими акулами общим великим делом защиты евреев…

В первые же дни, проходя по длинному и вечно темному, как бомбоубежище, коридору «Курьера», Христианский остановил меня и, покровительственно приобняв за плечо, сказал:

– Показать вам человека, одна минута которого стоит сумасшедших долларов?

За стеклянной перегородкой в соседней комнате сидела небольшая, абсолютно израильская по виду компания – джентльмены в расстегнутых рубашках с закатанными рукавами и мятых брюках, подпиравших круглые животы.

– Которого вы имеете в виду? – спросила я.

– А вон того, что похож на рыжую свинью.

Добрая половина компании была похожа на рыжих свиней. Но один из них был просто альбиносом.

Я взглянула на Христианского – по лицу его струилось непередаваемое выражение ласковой, восхищенной ненависти.

…Время от времени в нашем зале возникала и плыла над барьерами кабинок белая шевелюра Бромбардта, потом появлялась его сонная физиономия, с которой всегда хотелось смахнуть, как пыль, белые брови и ресницы, физиономия с вечной спичкой, зажатой в зубах.

Когда Христианский кивком указывал ему на всегда расстегнутую пуговицу, он восклицал меланхолично «Sorry» и хватался за рубашку или ширинку.

Так вот, акции фирмы принадлежали поровну Бромбардту и Всемирному еврейскому конгрессу. Поэтому члены конгресса входили в совет директоров фирмы «Тим’ак». А главою совета директоров являлся сам Иегошуа Апис, он же Гоша, знаменитый бывший отказник – фигура туманная, влиятельная и, как многие намекали, – небезопасная. Заседал совет директоров не реже чем раз в месяц.

– А сколько служащих в фирме «Тим’ак»? – спросила я Риту в первый день.

– Трое, – сказала она, подумав. – Я, ты и Катька.

– А Христианский?

– Он член совета директоров, – ответила Рита, как обычно вслушиваясь в дополнительный смысл слов. – И главный редактор.

Мне эта ее манера говорить напоминала повадки классного студийного фотографа, который, прежде чем щелкнуть, долго «ставит кадр», возится с лампами, поминутно отскакивая к камере, снова подбегает к модели, чтобы чуть-чуть повернуть подбородок влево, наконец, окинув взыскательным взглядом художника всю картину, «делает кадр».

С Ритой случилось в Израиле вот что: на второй день после приезда она увидела в автобусе старого сефардского еврея, подробно ковыряющего в носу. Это зрелище вызвало у нее сильнейший культурный шок. Из памяти ее мгновенно выветрились свинцовые чиновники ОВИРа, остервенелое хамство московских

голодных толп, пьяная баба, колотившая ее кулаком по спине на станции метро «Филевский парк», – все провалилось в волосатую ноздрю старого сефарда. С тех пор израильтяне были для нее – «они». Понимаешь, у них совсем, совсем другая ментальность, говорила Рита.

Катька же, та, которую вначале я приняла за подростка, оказалась личностью дикой и трогательной. Катьку пожирал огонь социальной справедливости. Он горел в ее круглых черных глазах, и отблеск этого огня лежал на всех обстоятельствах Катькиной биографии. Она постоянно с кем-то или с чем-то воевала. Вообще Катька была убеждена, что прежде всего каждому нужно бить морду. А если вдруг человек хорошим окажется – потом, в случае чего, и извиниться можно.

Катька была урожденной и убежденной москвичкой, савеловской девочкой, которую в Израиль приволок муж, поэтому рефреном всех Катькиных разговоров было: «Идиотская страна!»

– Идиотская страна! – возбужденно начинала Катька, едва появившись в дверях и бросив сумку на свой стол, и далее мы с Ритой и Христианским выслушивали очередную историю молниеносного сражения Катьки с кем-то или чем-то по пути на работу.

Когда не попадалось под руку никого из посторонних, Катька воевала с мамой, двумя своими детьми – Ленькой и Надькой – и со своим мужем, высококлассным системным программистом, в домашнем обиходе носившим кличку «Шнеерсон».

При всем том Катька была человеком еще невиданной мною, какой-то глубинной, первозданной доброты. Можно сказать, все ее существо поминутно пронизывалось грозовыми разрядами положительных и отрицательных импульсов. Охотно могу себе представить, как, подравшись в автобусе и до крови расквасив обидчику физиономию, Катька, растрогавшись от вида чужого несчастья, рвет на полоски лучшую свою юбку, чтобы перевязать пострадавшего.

Словом, что тут долго рассусоливать! – Катька обладала давно описанным, отстоявшимся в веках и очищенным литературой русским национальным характером, живописно оттененным ярко выраженной еврейской внешностью. Неизбежная мутация в условиях галута, заметила как-то Рита.

Кроме того, Катька была фантастически одаренным человеком. «Просто у меня детская память на языки», – небрежно поясняла она. Французский знала, как родной, через месяц после приезда в Страну уже свободно говорила и читала на иврите и, наконец, имела кандидатскую степень в одной из сложных областей то ли статистики, то ли кибернетики.

– Понимаешь, Яшка Христианский – страшное говно! – в первый день сообщила мне Катька.

Я растерялась. Мы сидели втроем в буфете, маленькой комнатке, приткнувшейся в тупике одного из длинных темных коридоров «Курьера». Пять столиков стояли тесно, чуть ли не впритык один к другому. Так что вокруг нас сидело и жевало несколько сотрудников «Курьера».

– Кать, не так громогласно, – заметила Рита.

Катька отмахнулась:

– Ерунда, эти чурки по-русски не понимают. Кстати, надо бы учебник английского просмотреть…

Она перегнулась через свою тарелку с отбивной и, глядя мне в глаза, продолжала:

– Ты ощутишь это на собственной шкуре в ближайшее время.

– Но… мне показалось, что он очень образованный человек, – неуверенно возразила я.

– Он очень умный! – немедленно отозвалась Катька, разрезая отбивную. – Очень умный! – Она вздохнула и добавила: – Лялю жалко. Хорошая у него жена, Ляля. Мудрая баба…

Весь этот первый день Христианский толокся у моей кабинки, мешая работать и без умолку демонстрируя россыпи самых глубоких знаний во всех областях жизни. Например, долго и утомительно подробно объяснял, как действует Алмазная биржа, время от времени отлучаясь к своему кейсу, который мудрая

его жена Ляля с утра забивала фруктами, и через минуту появляясь с бананом, яблоком или хурмой в руке. Ей-богу, он был мне симпатичен!

В этот день я редактировала книжонку для детей, довольно незатейливо пересказывающую историю победы Гидеона над мидианитянами и амалекитянами. «И тогда произошло громкое трубление в военные трубы воинов, и прокричали воины – «Меч Господа и Гидеона!»

Я заглянула в конец рукописи, обнаружила, что автор текста – рав Иегошуа Апис, и вздохнула: член совета директоров фирмы «Тим’ак» Гоша заколачивал копейку. Заканчивалась брошюрка главой под названием: «Перспектива: когда исчезнет Амалек?»

…Вечером, придя домой и поужинав, я сняла с полки книгу Судей и нашла эпизод с Гидеоном.

«…А Мидийанитяне, и Амалэйкитяне, и все сыны Востока расположились в долине, многочисленные, как саранча: и верблюдам их нет числа, как песку на берегу моря…»

Я закрыла книгу и зашла в маленькую комнату с заклеенным окном – эту комнатку мы предназначили для укрытия на предстоящую войну, в которую все-таки мало кто верил.

Моя четырехлетняя дочь сидела на диване и с увлечением терзала противогаз.

– Кто разрешил тебе взять противогаз?! – заорала я.

– Папа, – сосредоточенно ответила она, не поднимая головы.

…Ночью, часа в три, заверещал телефон. Я вскочила, сорвала трубку. Звонил брат моего мужа.

– Ты только не волнуйся, – сказал он ночным нехорошим голосом. – Я ловил сейчас «голоса»… в общем, американы метелят Ирак… Так что – война.

– Меч Господа и Гидеона! – сказала я тихо, перетаптываясь босыми ногами на холодных плитах пола.

– Что? – спросил он.

– Ничего, – сказала я.

?

Утром на пути к автобусной остановке меня прихватил Левин папа, когда, потеряв бдительность, на ходу я пыталась укоротить ремни на картонной коробке с противогазом. Как человек, соблюдающий по мелочам социальную дисциплину, я послушно захватила противогаз на работу.

В этом смысле сама себе я всегда напоминаю солдата, у которого и пуговицы пришиты и надраены, и сапоги начищены, – безупречного солдата, который обязательно дезертирует как раз в тот момент, когда его жизнь понадобится царю-батюшке, королю-императору, родному вождю или там Третьему Интернационалу… С детства зная за собой некоторую «швейковатость» по отношению к обществу, я всегда стараюсь усыпить бдительность этого общества соблюдением мелкой социальной дисциплины. Так что я послушно захватила противогаз на работу. Ремень коробки продела через плечо, как старый русский солдат – ружье, и коробка, свисая чуть ли не до колен, била меня по ногам. Тут на меня и наскочил Левин папа.

Этот бравый старикан шляется по израильским «Суперсалям» и «Гиперколям» с дырчатой советской авоськой за рубль сорок и, заслышав русскую речь, заступает людям дорогу и рокочущим баритоном, с отеческой улыбкой отставного генерала спрашивает:

– Из России?

Обманутые его ухоженным добротным видом, этой покровительственной улыбкой, люди, конечно, замедляют шаг и подтверждают – из России, мол, из России, откуда ж еще… Тут Левин папа, совсем уж приобретая ласково-строгий вид отставного генерала, экзаменующего зеленого лейтенантика, спрашивает, пронзительно всматриваясь в собеседников из-под кустистых бровей:

– Леву Рубинчика знаете?

Это он произносит тоном, каким обычно спрашивают: «В каком полку служили?» И даже неважно, знают или не знают встречные Леву Рубинчика, – старикан взмахивает болтающейся авоськой, ударяет себя ладонью в грудь и торжественно объявляет:

– Я его папа!..

В первый раз я купилась на отеческую улыбку чокнутого старикана и даже честно пыталась припомнить Леву Рубинчика. Но уже второй раз, выслушав весь набор, с криком – извините, тороплюсь! – я потрусила прочь от Левиного папы. В дальнейшем, завидя его импозантную фигуру с дырчатой авоськой в руках, я немедленно переходила на противоположный тротуар. А тут замешкалась, возясь с ремнем от коробки.

– Из России? – раздался надо мной волнующий баритон.

– Извините, тороплюсь! – воскликнула я, бросаясь в сторону.

– Леву Рубинчика знаете? – неслось мне вдогонку ласково и властно. – Я его папа!..

Уже из окна автобуса я увидела, что он поймал какую-то молодую пару. Взмахнул рукой с авоськой, ударил себя ладонью в грудь – и автобус повернул на другую улицу…

Ехать надо было до центральной автобусной станции, пересечь ее пешком и двориками, переулочками и помойками выйти на длинную, промышленной кишкой изогнувшуюся улицу, в одном из тупиков которой и стояло здание «Ближневосточного курьера».

На центральной автобусной станции я присмотрела себе нищего.

Еврейские нищие очень строги. Я их побаиваюсь и никогда не подаю меньше шекеля, а то заругают. Мой нищий был похож на оперного тенора, выжидающего последние такты оркестрового вступления перед арией и уже

набравшего воздуху в расправленную грудь. Высокий, с благородной белой бородою, в черной шляпе и черном лапсердаке, он протягивал твердую, как саперная лопатка, ладонь, и казалось, сейчас вступит тенором: «Вот мельница, она уж развалилась…»

Я подавала шекель в его ладонь, он говорил важно, с необыкновенным достоинством:

– Бриют ва ошер – здоровья и счастья…

В фирме царило почти праздничное оживление. Рита, Катька, несколько сотрудников газеты «Привет, суббота!», двое толстых заказчиков из Меа Шеарим, беременная секретарша Наоми – молодая женщина с карикатурно-габсбургской нижней губой, – слушали лекцию Христианского на военную тему.

Сладостно улыбаясь и оттягивая большими пальцами ремни портупеи, пританцовывая и кивая орлиным носом по сторонам, переходя с русского на иврит и опять на русский, Яша утверждал, что нас будут бомбить. И сегодня же ночью. При этом он сыпал военными терминами, с уточнением калибра орудий в миллиметрах, названиями газов, с уточнением их химического состава и прочими научно-военными данными, которых черт-те где понабрался.

Увидев меня с противогазом через грудь, он взорвался таким искренним, таким лучезарным весельем, что даже прослезился, хохоча.

– Ой, что это?! – повизгивал он, вытирая слезы. – Что это вот за коробочка?! Ох, ну какая же вы милая, вы просто прелесть, дайте ручку, – и, перегнувшись через стол, картинно приложился к моей ручке, что ни в какие ворота не лезло, если взглянуть на дело с точки зрения Галахи. Но Христианский вообще-то и сам ни в какие ворота не лез, он и ортодоксом был необычным, и даже фамилию имел в этой ситуации абсолютно невозможную, вероятно, поэтому и журнал «Дерзновение» издавал под псевдонимом Авраам Авину[1 - Авраам Авину – отец наш Авраам (иврит).]…

После сцены лобызания ручки мы разошлись по кабинкам – «Надо же и работать, война, не война», – сказал Яша, достал из кейса банан, свесил с него лоскуты кожуры на четыре стороны и отхватил сразу половину. Затем, примерно часа

два, он мешал всем работать, продолжая лекцию на военные темы, время от времени останавливая сам себя ликующим возгласом: «Но не за то боролись!»

Отвлек его только появившийся Фима Пушман, секретарь Иегошуа Аписа, осуществлявший, как днем раньше объяснила мне Рита, челночную связь между мозговым центром фирмы, то есть Гошей, и ее рабочим корпусом, то есть нами тремя. Мозговой центр помещался в захламленной двухкомнатной квартирке, которую снимал Всемирный еврейский конгресс, где-то на улице Бен-Иегуда.

Фима Пушман, веснушчатый верзила, еврейский раздолбай лет сорока, в вечно спадающих штанах, вечный чей-то секретарь, отъявленный неуч и бездельник, член, конечно же, Еврейского конгресса, то есть, грубо говоря, конгрессмен, – Фима Пушман когда-то в России был замечательным фотографом. На этом поприще он обнаружил такой талант, что, говорят, уговаривал живых людей фотографироваться на их будущие могильные памятники.

Говорил он тягучим поблеивающим тенором, растягивая слова, но не так, как Рита, а словно бы, начав фразу, не представлял, к чему он это затеял и как теперь быть с этой фразой вообще…

Рита уверяла, что у Фимы мыслительный аппарат не связан с остальными функциями организма.

Парадокс заключался в том, что, в сущности, Фима Пушман был очень пунктуальным человеком. Например, он всегда приходил на встречу минута в минуту, только не на то место, где уговаривались встретиться. Рассылая бандероли с журналами «Дерзновение», он надписывал их изумительным каллиграфическим почерком, но часто путал местами адреса отправителя и получателя, вследствие чего мы получали наши же журналы наложенным платежом да еще расписывались в получении.

Он педантично оплачивал в банке счета фирмы, но на обратном пути забывал где-то сумку с квитанциями, бумажником, рукописями и всеми чеками для выплаты жалованья сотрудникам фирмы на сумму в несколько десятков тысяч шекелей.

Словом, можно уверенно сказать, что, уволив Фиму Пушмана, Всемирный еврейский конгресс и лично Иегошуа Апис значительно сократили бы свои

убытки.

Яша презирал Фиму Пушмана и страшно унижал, как унижал он всех, кто не мог ему ответить. Фима Яшу ненавидел и на каждое ядовитое замечание того огрызался просто и тупо, как двоечник с последней парты. Бывало, Фима, как простой курьер, раз пять на день появлялся у нас, подтягивая штаны и затевая попутно нечленораздельные беседы, – это Яша заставлял его носить на Бен-Иегуду и обратно какие-нибудь ничтожные бумажки. А ведь Фима не подчинялся ему ни в коей мере, Фима был членом Еврейского конгресса и собственностью Иегошуа Аписа. Да, он был собственностью Гоши, ибо тот вывез его из России на гребне какого-то международного скандала (Гоша, благодетель, многих вывез; в те годы он был духовным воротилой крупных отказнических банд) – привез и пристроил его в конгресс, так что Фима и сыт оказался, и при деле…

Так вот, явился Фима Пушман с рукописью от Иегошуа Аписа, с пачкой печенья и банкой хорошего кофе, которые и вручил «девушкам», нам то есть, очень галантно. Вообще, по словам Риты, бабы Фиму любили. За что его любить, энергично отозвалась на это Катька, за бороденку фасона «жопа в кустах»? Бороденку и впрямь Фима отрастил бедную, мясистые щеки просвечивали сквозь чахлую шкиперскую поросль, а если еще добавить, что выражение лица у Фимы во всех случаях оставалось лирическим, то придется согласиться, что с точки зрения литературного образа Катькино определение хоть и грубоватое было, но довольно меткое.

– А я сейчас одного знакомого встретил, из Москвы, – начал Фима, усаживаясь рядом с Ритой и подперев толстую щеку рукой. После этих слов он задумался, видно прикидывая, что дальше-то по этому поводу сказать и стоит ли вообще продолжать говорить… Потом решил, что стоит, и добавил: – Он там был самым главным в метро…

– Лазарем Кагановичем? – невозмутимо спросила Рита, не повернув головы от дисплея.

– Нет, зачем… Его зовут Володей…

Возник Христианский с толстенной рукописью в руках и сказал мне:

– Вот. Этот роман вы должны вылизать до последней буковки, сделать из него «Войну и мир».

– А что это? – спросила я.

– Бред сивой кобылы и очень увлекательный, просто детектив. Риточка, – позвал он, – вы не находите, что Мара очень увлекательно врет?

– Да, – помолчав, отозвалась Рита, – но темна, как шаман в Якутии.

– А кто такая Мара? – спросила я.

Из Ритиной кабинки вышел удивленный Фима Пушман – поглядеть на меня.

– Вы что – не слыхали о Маре Друк? Это известная отказница.

Тут Яша, приревновав Фиму к биографии Мары, сам начал рассказывать историю чудесного избавления семейства Мары Друк на личном вертолете миллионера Буммера, то и дело вставляя свое «но не за то боролись», хотя можно предположить, что десять лет сидевшая в отказе Мара боролась именно за то.

Впрочем, биография Мары занимала его недолго, и вскоре охотничий интерес его переключился на вечную, тупо покорную дичь – Фиму Пушмана, стоявшего рядом.

– А скажите-ка, Пушман, конгрессмен вы мой, – поигрывая пальцами по ремням портупеи (так пианист бегло пробует клавиатуру), начал Яша. – Правда ли, что в городе Горьком особенным успехом у населения пользовались ваши праздничные снимки покойника в гробу?

– Они не были покойниками! – встрепенулся Фима.

– Я и говорю: живой человек выглядит в гробу привлекательней, чем дохлый, это вы неплохо придумали. И хорошо шел клиент?

– Я профессионал! – с вызовом ответил Фима, уже подозревающий, что Христианский взялся за свое. – Клиенты моей работой были довольны.

– Конечно! – в упоении заорал Христианский, закатывая глаза. – Я ни в коем случае не умаляю вашего профессионализма! Просто мне интересно, платил-то кто: родственники усопшего или сам покойный?

– Платил покойник, – скромно подтвердил Фима, но вдруг, осознав все коварство Яши, отчаянно воскликнул: – Но он был живой!

На какое-то мгновение этот запредельный бред показался мне диалогом из пьески авангардного драматурга.

Вдруг в своей кабинке дико захохотала Катька. Будучи от природы гораздо сообразительней, чем я, она поняла все быстрее: талантливый фотограф Фима Пушман сумел поставить на твердые рельсы обычай рабочих масс города Горького фотографироваться всей семьей с дорогим усопшим в гробу. И многих потенциальных усопших он уговаривал сняться заранее в кругу семьи, пока смерть не исказила дорогие черты.

– Брось, – сказала я позже Катьке, – ни за что не поверю! Этого просто не могло быть!

– Почему? – весело возразила Катька. – Ты жизни не знаешь! Люди как рассуждают: фото остается внукам и правнукам, кому охота фигурировать в веках с тощим желтым носом? Фима арендовал гроб, держал его в ателье, клиент приходил красивый, выбритый, праздничный, укладывался на минутку – вокруг родные и близкие – чик! – вылетает птичка, и человек идет дальше праздновать Первое мая или там Седьмое ноября.

– Нет! – повторила я твердо. – Этого не могло быть. Нормальный человек всегда отталкивает от себя смерть.

– Дура… – проговорила Катька неожиданно грустно. – Ты что, забыла, как пьют в России?!

После обеда явилась заказчица из Сохнута забирать готовую брошюрку о новых правилах таможенного досмотра, и Яша, сцапав свежую жертву, полтора часа мытарил ее у компьютера, экзаменуя на предмет всевозможных существующих и несуществующих программ и ласково доказывая ничтожность экзаменуемой.

– Вы, конечно, знаете, сколько мегабайт вмещает харддиск этой модели IBM? Ну-ка, ну-ка… Не знаете? Помилуйте, это знает любой питомец интерната для слабоумных… – Или что-то вроде этого.

Заказчица жалко улыбалась и сосала через трубочку минеральную воду из пластиковой бутылки…

Наконец, отпустив полудохлую сохнутовскую мышку, Яша съел последний банан и обеими руками защелкнул пустой кейс тем же движением, каким взмокший дирижер оркестра сажает заключительный аккорд симфонии.

– Я побежал к Апису на Бен-Иегуду, – сказал он, – на заседание совета директоров. Если кто позвонит – буду завтра с утра.

У дверей он обернулся и, лучась подленькой рыжей ухмылкой, добавил:

– Ночью будут бомбить.

Когда за Яшей захлопнулась дверь, Катька сказала громко:

– Полководец долбаный!

?

Средь ночи запели трубы Страшного суда. Нет, грешно обижаться: недели за три объясняли по радио, как именно в случае воздушной атаки будет гудеть сирена. Просто мы не знали, что один из самых мощных усилителей звука установлен на крыше нашего дома, то есть на наших головах. Поэтому тот леденящий душу слаженный вой, взмывающий и опять ныряющий куда-то в глубины живота, никак нельзя было принять ни за что иное, как только за пение труб Страшного суда.

Я осталась лежать, совершенно распластанная этим воем.

Выскочил из соседней комнаты Борис, крикнул:

– Что ты валяешься?! Немедленно в комнату! – поднял на руки оглушенную со сна дочь и понес в наше убежище.

Там уже метался возбужденный и, кажется, ужасно довольный всем происходящим наш пятнадцатилетний балбес. Поддергивая спадающие, на слабой резинке трусы, он то хватал коробки с противогазами, то бросался на кухню за ножницами.

Когда Борис закрыл дверь и принялся заклеивать щели клейкой лентой, сын с воплем «Салфетки забыли!!!» стал рваться наружу, так что в конце концов для успокоения пришлось дать ему по шее.

Путаясь в резиновых завязочках, стали надевать специфически воняющие противогазы. Руки у меня тряслись, как на последней стадии Паркинсона. Борис отобрал у меня противогаз и стал надевать мне на голову, рявкая: «Подбородок в выемку! Подбородок, я сказал, в выемку!»

По радио передавали нежные песни. Я думаю, их отобрали заранее. «На будущий год мы сядем с тобой на балконе, – пел вольный женский голос, – и станем считать перелетных птиц… Вот увидишь, как все будет прекрасно в будущем году…»

Дочь позволила натянуть на себя противогаз, но, когда увидела наши страшные крокодильи рожи, заплакала и стала срывать с себя маску.

– Доченька, смотри! – крикнул отец и принялся отчебучивать, задирая ноги, кивая рылом противогаза и виляя задом. Подскочил ко мне, схватил, поволок по комнате отплясывать дурацкое какое-то танго.

– Я хочу в туалет, – сказала я, трясясь неуемной какой-то тряской.

– Это от страха, ничего, – сказал он и крепко прижал меня к груди. – Дети, быстренько отвернулись, мама сядет на ведро.

Тут опять завыла сирена, но по-другому – ровным утробным воем.

– Отбой! – сказал сын.

По радио объявили, что можно снять противогазы и выйти из загерметизированных помещений. В большой комнате надрывался телефон. Борис содрал с двери клейкую ленту, я выскочила и бросилась к аппарату.

– Семейство Розенталь? – вежливо осведомились на иврите.

– Нет, нет, – задыхаясь, ответила я. – Вы опять ошиблись номером.

?

– Да-да-да! Ну конечно! Противогаз, герметизированная комната, клейкая лента… Господи, какая же вы прелесть! Я умилен, умилен… Дайте ручку…

– Ну а вы-то сами, Яша, – заметила Рита из своей кабинки, – вы, конечно, гуляли под ракетным обстрелом, подставив лицо прохладному ветру?..

– Конечно, гулял, – невозмутимо отозвался Христианский. – Я и собаку взял, и детей – с условием, чтобы тепло оделись.

Перебивая друг друга, стали обсуждать прошедшую ночь – Катька жаловалась, что «этот идиот Шнеерсон» нарочно загерметизировал кухню, чтобы жрать во время воздушных атак, – строили предположения о ходе войны: в утренних новостях передавали невероятные какие-то сводки потерь иракского диктатора. Американцы победоносно бомбили…

– Ерунда, – заметил Христианский лениво, – американцы никогда не были хорошими вояками. Вот увидите, скоро выяснится, что все эти сводки – фикция.

– Что – фикция?! Что – фикция?! – наскакивала на него Катька. – Разбомбленные танки – фикция?!

– Конечно, – щурясь, отвечал Яша, – в конце концов выяснится, что и танки ненастоящие, и война ненастоящая, и вообще – американцы оставят еще эту рожу у власти, так, надают по заднице для острастки, ну, водопровод разбомбят, который он починит в три месяца…

В моей кабинке за моим компьютером сидел молодой человек в свитере такого люминесцентно-зеленого цвета, что на лицо и руки его падал мощный цветовой рефлекс. Среди культурных слоев населения города Фастова такой цвет называется «сотчный». Бледно-зелеными казались его прыщавая физиономия, усы щеткой, бесхозно валяющийся на краю уха чуб.

– Здравствуйте, – сказала я.

Он не ответил и даже не повернул головы, продолжая тыкать зеленым пальцем в клавиатуру компьютера. Я зашла к Христианскому и сказала:

– Яша, там за моим компьютером сидит какой-то глухонемой утопленник. Где мне сегодня работать?

Он расхохотался и крикнул:

– Хаим, ты опять с дамами не здороваешься? – И мне: – Ну что с ним делать? Не умеет он, не умеет. Не обращайте внимания. Не за то боролись. Это наш реб Хаим…

До обеда почти не работали, возбужденный Яша сбегал и приволок откуда-то из недр «Ближневосточного курьера» затрепанную карту Ближнего Востока и, согнав всех нас в свою кабинку, расстелив карту на полу, совсем заморочил нам головы, подробно объясняя ход событий, оперируя при этом абсолютно неведомыми нам военными терминами и другой изнурительной чепухой.

В обеденный перерыв я, Катька и Рита спустились в буфет перекусить и там, обстоятельнее, чем обычно, потому что ей приходилось еще прожевывать кусочки шницеля, Рита объяснила все о ребе Хаиме, который, по ее словам, украшал «Тим’ак», «этот питомник ублюдков». Так вот, в Союзе до отъезда реб Хаим был…

– Известный отказник, – почти машинально вставила я.

– Да куда ему – известный! – поморщилась Рита. – Сидел в отказе, да, прибился к Гоше. Когда наконец приперся сюда, в Израиль, радетель Гоша подобрал его и пристроил в «Тим’ак». Но поскольку Хаим ничего – ни-че-го! – не умеет делать,

то он просто получает чек в конце месяца. Как персональный пенсионер.

– За что? – удивилась я.

– Ну, как тебе сказать…

– За то, что раз в неделю клеит конверты, – вставила Катька, – как алкоголик в ЛТП.

– Какие конверты?

– А по углам у нас, видела, валяются пачки журналов «Дерзновение»? Фирма рассылает их по разным адресам. Просветительская деятельность Гоши…

По словам Риты, еще полгода назад, до того как Бромбардт раскошелился на это помещение в «Курьере», фирма «Тим’ак» теснилась в квартирке на улице Бен-Иегуда, где сейчас помещается мозговой центр. И вот там реб Хаим работал – он исполнял должность, которую можно бы назвать «мужик в доме». То есть его использовали, когда нужно было забить гвоздь или ввинтить лампочку. Рита уже тогда избегала обращаться к Хаиму, потому что Хаим был хам. Она подходила к раву Иегошуа Апису и говорила: «Гоша, велите Хаиму купить скрепки и туалетную бумагу».

Тогда Гоша послушно писал на листке: «Реб Хаим! Убедительно прошу вас приобрести до завтра скрепки и несколько рулонов туалетной бумаги (мягкой). С уважением – рав Иегошуа Апис». И Рита булавкой пришпиливала записку на видном месте.

Но Яшка, как ни странно, Хаима любит и очень ему покровительствует. И это действительно странно, если учесть, что такое чучело, как Хаим, представляет, в сущности, идеальную жертву для Яшкиных утех…

– Кстати, – продолжала Рита, осторожно оглядываясь на вдумчиво жующих вокруг сотрудников «Курьера». – Ты знаешь, что Яша написал роман «Топчан», где в середине есть развернутая страниц на десять сцена полового акта? Так вот. Ничего более занудного в жизни мне читать не приходилось… Да скоро сама прочтешь, – добавила она. – Яша уже намекнул мне, что даст этот роман

набирать.

– Как?! – поразилась я. – В рабочее время?

Катька, которая давно с нетерпением ждала обещанной сцены полового акта, посмотрела на меня с суровым состраданием и сказала:

– Ой, ну с тобой совсем неинтересно разговаривать…

…После обеда к нам забежала Сима Клецкин из «Ближневосточного курьера». Она жила в Стране уже лет пятнадцать, десять из которых проработала в «Курьере», в отделе объявлений. Когда-то в Москве Сима шилась у одной портнихи с нашей Ритой, они и здесь приятельствовали.

– Девочки! – выпалила Сима испуганно-весело. – У вас, говорят, редактор новый, – не оставьте в беде!

– А что такое? – спросила Рита.

– Да тут текст объявления отредактировать надо. – Вид у нее по-прежнему был странно возбужденный. – Мы вообще-то объявления не редактируем, но тут случай особый.

– А много там текста? – спросила я.

– Да нет, – хохотнув, словно подавившись, сказала она. – Одна фраза. –
И протянула мне тетрадный лист.

– А что это за слово тут, первое, не могу понять? – спросила я.

Катька выскочила из-за компьютера и заглянула в листок, уперев острый подбородок в мое плечо.

– Вот это – «ебу»?..

– Ты что, придуриваешься? – спросила Катька.

– Вы не там ударение ставите, – каким-то торжественным тоном поправила Сима. – Он дает объявление о том, что он… всех подряд за пятьдесят шекелей.

– Кого – всех? – растерянно спросила я.

– Так дорого, – заметила Рита меланхолично, продолжая набирать текст, – израильтяне это делают бесплатно…

– Постойте, – сказала я. – Может быть, это какая-то аллегория?.. Может, имеется в виду израильская демократия?..

– Какая там аллегория! – воскликнула Сима. – Вы бы посмотрели на его лицо!

– А при чем тут лицо? – возразила Катька, а Рита добавила, что в этом деле уж, вот именно, с лица воды не пить.

– Я говорю – по лицу заметно даже, что он сильно есть хочет. Коренастый такой, небольшого роста, ничего особенного. Смотрит на пачку печенья у меня на столе и слюну сглатывает… Я его, конечно, угостила. Говорю: а зачем вы даете объявление в англоязычную газету, вам придется еще перевод с русского оплачивать? Почему бы вам не обратиться в русскую прессу? А он говорит: да вы что, откуда у репатриантов деньги – пользоваться моими услугами!

– Вот она, продажная израильская пресса! – сказала Катька с напором. – Идиотская страна! У нас, в России, приди он с таким объявлением в «Комсомольскую правду», его бы…

– У нас, в России, – перебила ее Сима, – и без объявлений всех нас… За что я его выгоню? Он заплатил тридцать шесть шекелей, большую часть своего разового заработка…

– Ладно, – сказала я. – Дайте мне сосредоточиться. Сложный текст.

– Да уж, это тебе не пасхальная Агада, – вставила Рита.

«Трахаю всех за пятьдесят шекелей?» – задумалась я. Нет, грубо… «Пересплю с каждым» – нет, это вульгарно и неточно… «Обладаю недюжинными

достоинствами в области…»

В это время хлопнула дверь, и над барьером поплыла черная кипа Христианского.

– Что за сборище в рабочее время? – поинтересовался Яша, на ходу вытирая большую оранжевую хурму своим носовым платком.

Выслушав наши туманные объяснения, придвинул к себе листок, громко надкусил хурму, сочно зажевал…

– О чем тут думать, – сказал он, хмыкнув. – Дайте ручку!

И, склонившись над листком так, что остался виден лишь орлиный нос под черной кипой, быстро набросал своим ужасным почерком: «Профессионал высокого класса удовлетворяет любое желание каждого – недорого – пятьдесят шекелей». Выпрямился, поправил съехавшую кипу и сказал победно:

– Учитесь!.. Впрочем, не за то боролись…

?

Примерно раз в неделю появлялась и бродила меж кабинками с пасущимся видом беременная секретарша Наоми с чудовищной габсбургской нижней губой, похожая одновременно на Филиппа IV, короля Испании с портрета Веласкеса и на жеребую кобылу с тяжелым задом. Так что, если напрячь воображение, Наоми можно было представить Габсбургом верхом на жеребой кобыле.

До сих пор обязанности секретарши фирмы «Тим’ак» представляются мне неясными. Знаю только одно: раз в месяц Наоми собирала у нас использованные проездные билеты и возвращала наличными.

В этот раз Рита проездной потеряла, о чем с расстроенным видом поведала Наоми.

Та пожевала губой, как кобыла, пробующая свежее сено, и сказала:

– Ну, принеси проездной мужа.

– У нас с мужем разные фамилии, – сказала Рита огорченно.

– Ничего, – успокоила ее Наоми. – Мы же все о нем знаем…

Рита немедленно позвонила домой и выяснила, что муж уже выбросил утром использованный проездной.

– А можно проездной соседа? – с надеждой спросила Рита.

– Нет, – строго сказала Наоми. – Соседа мы не знаем.

Полагая, что вопрос исчерпан, мы разбрелись по компьютерам – работать.

Побродив вокруг нас, шевеля боками, Наоми вдвинула огромный живот к Рите в кабинку.

– Знаешь что, – предложила она, – поди купи что-нибудь на сумму проездного. Фирма тебе вернет деньги, вроде ты для фирмы закупила. Принесешь только чек из магазина.

Ужасно обрадованные, мы в обеденный перерыв побежали в соседний супермаркет покупать товару на стоимость Ритиного проездного.

Выяснилось, что без всего, в сущности, обойтись можно, крутая нужда в доме лишь в мужских трусах, так как на муже и взрослом Ритином сыне трусы просто горят, не напасешься, ну и что греха таить – это ж не рубашка, что на виду, – вечно на этом экономишь…

Словом, мы выбрали несколько пар чудесных трусов праздничных расцветок. Рита взяла в кассе чек, посмотрела и ахнула.

– Все, девочки, – сказала она. – Накрылись мои деньги. Тут они пишут наименование товара…

Чек все-таки она несмело подсунула Наоми, но, как человек порядочный, предупредила:

– Наверное, все напрасно, Наоми. Здесь написано, что я купила трусы.

– Гам зе елэх, – невозмутимо заметила Наоми, забирая чек («и это сойдет»).

– А разве фирма «Тим’ак» нуждается в мужских трусах? – удивилась я.

Наоми глянула на меня с поистине королевским достоинством и ответила:

– Фирме «Тим’ак» все пригодится.

В этот день к нам заглянула Сима Клецкин из «Курьера». Добрая душа, она всегда помнила о нас в случае чего. На этот раз случай подвернулся купить недорого фирменные кружки, которые «Курьер» заказал специально для своих сотрудников.

– Давай, тащи, – велела Катька, – а то пьем чай черт знает из каких лоханок.

Кружки оказались замечательно вместительными, белыми, с черным газетным шрифтом. Снизу вверх кружку опоясывала по спирали надпись «Ближневосточный курьер», и вокруг – мелко-мелко – тексты из статей.
Я вгляделась в одно из названий: «Тысячи их, абсурдных маленьких миров…»

?

В один из этих дней, вечером, на узкой улочке за рынком Махане Иегуда меня накрыла сирена воздушной тревоги. Впечатление было, что город взвыл от неожиданной боли. Побежали люди, натыкаясь друг на друга, раскрывая на ходу коробки с противогазами.

Я остановилась у какого-то пустого лотка, раскрыла коробку, натянула противогаз, как всегда с трудом прилаживая подбородок в специальную выемку, и, поскольку во всех инструкциях велено было забежать в ближайший дом, я забежала, – это оказалось здание полиции.

В небольшом помещении уже сидело несколько человек в противогазах. Я поздоровалась. Дежурный полицейский за пультом кивнул куда-то в сторону свободных стульев, я прошла и села.

– И так она рыдала, слушай, как будто ребенок у нее умирает… – рассказывал кто-то у меня за спиной. – Ну я, конечно, выкатил машину из гаража, погрузил на заднее сиденье этого пса и повез к ветеринару. В субботу! А что было делать? Смотри, эти русские так привязаны к своим животным…

Время от времени раздавались звонки, дежурный поднимал трубку, говорил успокаивающим голосом. Я не подозревала, как много людей во время воздушных тревог звонят в полицию.

Я сидела близко от пульта, и мне слышны были голоса звонящих.

– Полиция, слушай, у нас тут сейчас бабахнуло в Неве-Яакове! – крикнул ошалевший мужской голос.

Дежурный вздохнул, сказал спокойно:

– Ладно, мотэк, не бойся. Направляю к тебе воинские подразделения. Бабахнуло… – презрительно повторил он, положив трубку. – В голове у него бабахнуло… – Помолчал и добавил: – В штанах у него бабахнуло…

Минуты через три тот опять позвонил. Извинялся. Говорил, что задремал и со сна ему, видно, почудилось. Полицейский вдруг подмигнул мне и сказал:

– Подожди, не клади трубку! – И, пощелкав кнопками на пульте, стал громко командовать, наклоняясь к лежащей трубке: – Внимание! Всем боевым частям, пехоте, десанту, танкам, авиации и подводным лодкам, направляющимся в сектор Неве-Яаков, – отбой! Это был только сон…

Несколько человек засмеялись, и кое-кто снял противогаз. Я тоже сняла.

– Из России? – послышалось вдруг рядом. Слева от меня сидел Левин папа с авоськой в руке. Мне захотелось опять надеть противогаз.

– Из России, – вздохнув, подтвердила я покорно.

– Леву Рубинчика знаете? – поигрывая бровями, как бы поощряя меня к положительному ответу, спросил он.

– Знаю, – сказала я. – Вы – его папа.

Он запнулся на мгновение, потом радостно закивал головой, взмахнул авоськой:

– Правильно!

Ровным заводским гудком прогудел сигнал отбоя. Люди поднялись со стульев, стали складывать в коробки противогазы. Зазвонил телефон на пульте.

– Нет! – ласково ответил в трубку дежурный. – Нет, мотэк, это полиция, а не семейство Розенталь.

Показалось, подумала я на пороге, с моим-то колченогим ивритом…

?

Между тем ежедневно я редактировала эпохальное повествование отказницы Мары Друк под названием «Соленая правда жизни», то есть первую часть романа страниц на триста пятьдесят. Остальное Мара дописывала, и дописывала, кажется, быстрее, чем я редактировала.

Раз в три-четыре дня она – полная брюнетка с шелковистыми, блестящими, нежно вьющимися по скулам бакенбардами – являлась со свежей порцией этой бесстыдной фантасмагории, в которой действовали: нечистая сила и божественное провидение, благородный гинеколог, тайно распространяющий среди пациенток запрещенную литературу по иудаизму, агенты КГБ, сексоты, двое очаровательных Мариных детей, хасидские цадики с Того Света, вампиры, проститутки, экстрасенсы, адвентисты седьмого дня, ведьмы, дирижер симфонического оркестра города Черновцы, сволочи-дворники и хамки-продавщицы, антисемиты, антисемиты, антисемиты, наконец – насильник-еврей, пощадивший Мару в купе поезда, как только узнал, что и она еврейка, хотя к той минуте успел уже расстегнуть брюки…

В повествовании дальше не говорилось о том, застегнул ли он их опять, и получалось, что всю последующую страстную исповедь своей загубленной жизни еврей-насильник рассказывает со спущенными штанами. Поэтому я позволила себе порезвиться: после слов «Как, неужели ты – еврейка?!!» (не признать в Маре с первого взгляда еврейку из Черновиц мог только слепоглухой) я, не колеблясь, вставила: «…воскликнул он пораженно, мускулистой рукою решительно застегивая брюки…»

Над всем романом реяла архангелоподобная фигура Иегошуа Аписа, по роли своей в Мариной биографии сравнимая лишь с фигурой Моисея, выводящего евреев из Египта.

Будни фирмы «Тим’ак» напоминали мне вяло ползущий вверх эскалатор в метро, когда перед тобой выныривают и проплывают мимо множество незнакомых лиц.

Фирма не брезговала ничем – кроме тощей еженедельной газетенки «Привет, суббота!», брала заказы на издание религиозных книг и брошюр, министерских инструкций, романов и рассказов нескольких сумасшедших графоманов, делала газету враждебной нам общины реформистского иудаизма, сборник рецептов лекарственных трав и пособие по эротике под названием «Как повысить удовольствие». Особым заказом проходила книга рава Иегошуа Аписа «Радость обрезания».

Но, конечно, основным источником нашего существования была «Привет, суббота!», выходящая на иврите, – твердый еженедельный заказ, оплачиваемый Бромбардтом, хотя акции газетки принадлежали Всемирному еврейскому конгрессу.

Материалы для религиозной «Привет, субботы!» готовили несколько журналистов-израильтян, публика веселая, энергичная, по виду – далекая от кошерной кухни. Но возглавлял их рав Элиягу Пурис – маленький изящный человек с мягким лукавым юмором. Ходил он в полной амуниции хасида – черная шляпа, черный лапсердак – и висящие двумя витыми кудрями длинные пейсы, которые он, работая, завязывал на макушке и закреплял заколкой автоматическим, каким-то российски-бабьим жестом, а поверх нахлобучивал кипу. Рав Элиягу Пурис был отцом одиннадцати дочерей и единственного последненького сына, после которого, как говорил сам, «уже можно прикрыть лавочку».

Он был одинаково приветлив со всеми, но Катьку, которая, будучи графиком, имела непосредственное отношение к выпуску газетки, особо привечал. Например, переезжая на новую квартиру, подарил ей обеденный стол и шесть стульев. Забирая мебель, Катька впервые увидела всех одиннадцать дочерей рава Пуриса, поголовно отменных красоток – шатенок, блондинок, рыженьких – все, как на подбор, изящные, хрупкие в отца, – и годовалого сына, толстощекого любимчика, которого сестры не спускали с рук.

– Рав Элиягу, – сказала она на следующий день, – мне так понравились твои дочери!

– Можешь взять себе парочку, я не замечу, – мгновенно отозвался на это рав Пурис.

Часто он приходил в наш закуток поболтать о жизни, и, когда сильно встряхивал головой, на грудь его, бывало, падала то одна, то другая тощая пейса, которую он потом закалывал на макушке тем жестом, каким русская прачка закалывает в узел распавшиеся пряди волос. Нас он называл шутливо – «русская мафия»…

С утра, часиков обычно с восьми, Яша Христианский уже сидел в своей кабинке главного редактора. Собственно, Яше не было нужды торчать в фирме с такого ранья, но Ляля, мудрая женщина, сказала однажды Рите: «А что ему дома делать? Детей гонять и груши околачивать? Пусть работает». Она сама привозила его в старом мощном «Форде»-пикап, который и Ляля, и Яша, и все мы называли «танком». Крепко помятый в дорожных передрягах, «танк» пер по любым колдобинам. Яша уверял, что купленному когда-то за три тысячи шкалей «танку» нет цены и что он, Яша, не променяет его ни на какие «вольво-мерседесы».

Так что с восьми Яша сидел уже за компьютером IBM и, правя ивритский текст газеты «Привет, суббота!», на русском в это же время разговаривал с каким-нибудь заказчиком, переминающимся рядом. Время от времени он поднимал телефонную трубку и отвечал что-то на английском.

Это впечатляло. Впрочем, в Израиле каждый второй знает три, а то и больше языков. Но Христианский и иврит, и английский знал блестяще. Он и русский знал. Вообще он был гением.

Работая по своим кабинкам, мы частенько бывали молчаливыми свидетелями страшных издевательств Христианского над беззащитными заказчиками.

Начинал экзекуцию он, как правило, необыкновенно приветливо и даже ласково. Невзначай вызнавал профессию собеседника и мягко, постепенно, как прекрасный саксофонист наращивает звучание саксофона, принимался унижать достоинство заказчика – уточню, и это очень важно, профессиональное достоинство – так изощренно и на первый взгляд невинно, что человек поначалу даже и не отдавал себе отчет, почему портится у него настроение, почему хочется немедленно начистить рыжую рожу этому милому господину в черной кипе, и вообще – отчего это хочется уйти отсюда поскорее и никогда больше не возвращаться.

Спохватывался он и обнаруживал, что над ним издевались, как правило, уже на улице. Хотя бывали случаи, что Христианский доигрывался…

Но такое случалось крайне редко. Обычно резвился Яша совершенно безнаказанно. И после особенно удачного макания собеседника мордой в дерьмо некоторое время вел себя кротко, как школьный хулиган, зарабатывающий оценку «удовлетворительно» перед концом семестра.

Раз в два-три часа мы делали перерыв на чай. Включался в сеть серо-голубой электрический чайник Всемирного еврейского конгресса, изумительный чайник, напоминающий лайнер, готовый взлететь, и Рита заботливо приготавливала Яше чай, как он любит – крепкий, без сахара, в личную его, кошерную, чашку с тремя голубыми цветочками, и Христианский в эти минуты размякал и пускался в мечты на тему «Когда мы вольемся в «Курьер». Этими своими проектами о присоединении фирмы к «Ближневосточному курьеру» он держал нас в мечтательном напряжении. Состоять в штате «Курьера» означало получать жалованье на порядок выше, и не только жалованье, а многое такое, о существовании чего вообще не подозревают свежие эмигранты из России. А главное – это означало повышение социального статуса, ибо знаменитый «Ближневосточный курьер» – это вам не хевра «Тим’ак» с ее паршивой газетенкой «Привет, суббота!».

А дело было в том, что уже многие крупные газеты на иврите выпускали «русскую страницу» по известной причине – в стране за последние год-полтора расширился русский рынок и издатели спешили его освоить. Конечно, думал об этом и главный редактор «Курьера» – блистательный журналист и седовласый

супермен Иегуда Кронин. Яша уверял, что Кронин положил глаз именно на него, Яшу (а на кого же еще?! Кто еще мало-мальски достойный есть в обозримом пространстве?!), – и время от времени даже бегал «встречаться» с Иегудой Крониным.

Правда, с этих встреч он возвращался несколько озабоченный, туманный, но не сломленный, нет, все-таки булькающий надеждой. Так что все свои бредовые мечты Яша начинал обычно фразой: «Когда мы вольемся в «Курьер»…»

Неудачные «умывки» он переживал, как ребенок. Жаль, я поняла это слишком поздно, когда уже и сердца на него не держала, но в течение тех нескольких недель, тех призрачных, странных недель моей жизни, Яша вызывал такое зудящее раздражение, что спускать ему даже самые невинные его забавы казалось нестерпимым. Странное дело, его постоянно хотелось нашлепать. Он вызывал неудержимое желание применить к нему именно физическое наказание…

Однажды, когда все мирно сидели по своим кабинкам и работали, Яша вдруг окликнул меня и сказал:

– Все-таки прелестная какая мелодия, эта «Ария Керубино», вы не находите? – И опять засвистал «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный…».

– Это ария Фигаро, – поправила я машинально. В тот момент все силы моего истощенного интеллекта были устремлены на борьбу с Марой Друк. Одну из глав своей дилогии воспоминаний она назвала «Затычка в рот не усмиряет мысли», и в тот момент я пыталась как-то облагородить это название.

Яша издал свой носовой смешок и проговорил приветливо:

– Я вижу, Мара действует на вас угнетающе. Каждый школьник знает, что это – ария Керубино…

Стыдно признаться – кровь бросилась мне в голову, я ощутила удушающий спазм ненависти, да-да, именно нешуточной ненависти, повторяю, мне стыдно в этом признаться.

Я вскочила и вышла из своей кабинки.

– Послушайте, Яша, – проговорила я, безуспешно пытаясь казаться спокойной. – Если вот уж именно вам не изменяет ваша гениальная память, я имею высшее музыкальное образование. Не советую вам «копать» меня в этой области. Смиритесь с тем, что в чем-то я компетентнее вас.

– Ах, да-а! Выс-с-сшее образование! – любовно жмурясь, ответил он. – Да-да, советский диплом, основы коммунизма-с… А я вот готов сию минуту заключить с вами пари, что эта мелодия, – он опять посвистал очень приятным, точным, переливчатым свистом, – не что иное, как ария Керубино. Заодно вы пополните ваше выс-с-сшее образование!

– Хорошо, спорим, – согласилась я кротко, внутренне стекленея и позванивая от нехорошего азарта.

– На сто шекелей? – спросил он насмешливо.

– Нет, – сказала я. – Сто шекелей я вам даю, если вы правы. Если же выиграю я, то в присутствии Иегуды Кронина я отхлещу вас по физиономии рукописью Мары Друк.

– Что-что? – удивился он.

– Отхлещу по мордасам Марой Друк, – тихо и жестко повторила я с бьющимся сердцем, – перед Иегудой Крониным. Потом вливайтесь в «Курьер» с начищенной мордой. Идет?

Видимо, его обескуражило и даже слегка испугало выражение моего, обычно лояльного, лица. И насторожила рукопись Мары в качестве орудия наказания.

– Ладно, я проверю, – пробормотал он.

– Как, вам уже расхотелось спорить? – ядовито поинтересовалась я.

– Я должен проверить, – сумрачно бросил он, глядя на дисплей.

Я ушла в свою кабинку, села за рукопись и долго еще, наверное минут сорок, не могла работать, напевая про себя – тьфу! – «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный…».

?

Приближался Пурим. Американцы с тяжелой педантичностью бомбили Ирак. Ирак с такой же педантичностью посылал «скады» на Израиль. Светские евреи недоумевали – что себе думает Моссад?! Религиозные евреи только улыбались – они знали, что в таких случаях думает себе Он накануне Пурима.

Между тем под псевдонимом Авраам Авину Яша написал и издал третий номер журнала «Дерзновение». Огромные пачки журналов лежали повсюду – на столах, под столами, штабелями вдоль стен. Иногда мы присаживались на них вместо стульев. Раз в неделю приходил персональный пенсионер фирмы реб Хаим, клеил из грубой бумаги конверты и раскладывал по ним экземпляры журналов. Отправлять эти пакеты было обязанностью Фимы Пушмана, конгрессмена и секретаря, Фиме же нельзя было поручать ничего. Бывало, попросишь его сбегать на угол, купить что-нибудь съестное, например шаурму, – он побежит и купит, но сдачу забудет и шаурму уронит. Так что к нему, как и к Христианскому, постоянно хотелось применить физическое воздействие.

(Вообще никогда мне не хотелось так часто кого-то бить, как за время работы в фирме «Тим’ак». Почему-то на это время у меня ослабли все остальные коммуникативные функции и окрепло только саднящее исступленное желание дать наотмашь по морде – то Фиме, то Хаиму, то Христианскому, то миллионеру Бромбардту с расстегнутой ширинкой, то толстому заказчику из Меа Шеарим. В разнузданном своем воображении я, можно сказать, совершенно распустила руки. Да и подсознание в эти недели вытворяло черт знает что: чуть ли не каждую ночь я с упоением избивала Аписа. Рав Иегошуа Апис, которого я и в глаза-то не видела, ускользал, менял лица, зловеще хохотал и вообще был омерзителен. Само собой разумеется, в четвертом акте ружье должно было выстрелить.)

– Послушайте, Фима, – однажды спросила я. – А по каким, собственно, адресам рассылается журнал «Дерзновение»?

Фима с пачкой конвертов в руках, уже готовый к выходу, остановился, словно впервые задумался над этим вопросом, и наконец сказал:

– Ну… людям… Разным. В Россию тоже… Кстати, можем и вашим близким послать… Это бесплатно… Гуманитарная деятельность… Есть у вас друзья в России, которые интересуются еврейской историей?

– Видите ли, Фима, – замялась я, – те, кто интересовались еврейской историей, уже уехали в Израиль. Остались в основном те, кто интересуется русской историей…

– Ничего, ничего, им тоже не помешает! – Он оживился, и по всему было видно, что не угас еще в нем могучий дар уговаривать живых людей фотографироваться на могильные памятники.

Я живо представила себе кое-кого из моих друзей, всю жизнь боровшихся со своим еврейством, как с застарелым триппером. Представила, как, почему-то ранним зимним утром, одному из них звонит в дверь почтальон в телогрейке и вручает заказную бандероль из страны, при имени которой мой друг всегда морщился.

Представила, как, заспанный и ошалевший, в тапочках на босу ногу, он в прихожей судорожно распечатывает пакет, достает журнал, раскрывает его и натыкается на такой, например, абзац: «На двенадцатом году царствования Ахаза, царя Иудеи, Гошеа, сын Эли, стал царем над Израилем в Шомроне и правил девять лет… На третьем году царствования Гошеа, сына Эли, царя Израиля, воцарился Хизкия, сын Ахаза, царя Иудеи…» – и как потом на кухне, взбудораженный и злой, он курит у окна, из которого открывается вид на автостоянку «Бутырские тополя», нервно потирая небритые щеки и крупный, с горбинкой нос…

– Нет, Фима, – сказала я, – оставим в покое моих российских друзей.

?

– Приближаемся… – шепотом сообщала мне Рита, набирающая роман Христианского «Топчан», – неуклонно приближаемся к половому акту…

Вечером мне позвонил Гедалия, староста группы с занятий рава Карела Маркса.

– Приходите завтра, в семь, – сказал он. – Рав Карел проводит занятия, несмотря на военное время.

– А какая тема завтра? – спросила я.

– Точно не знаю, извините, мне еще многих надо обзвонить…

Между тем над фирмой «Тим’ак» потянуло зябким холодком. Что-то случилось. Что-то сдвинулось, накренилось, съехал какой-то рычажок.

Христианский стал чаще убегать на заседания совета директоров фирмы, подолгу нервно и отрывисто говорил с кем-то по телефону, переходя с русского на иврит, а Гоша Апис звонил в фирму все реже, словно бы отошел от дел, и все это выглядело так, что Яша брошен Аписом на произвол жестокой издательской судьбы.

Являлся несколько раз миллионер Бромбардт в расстегнутой на все пуговицы рубашке, со спичкой в зубах, что-то подозревающий и всем недовольный. Отзывал в сторону Христианского и долго выяснял отношения. Миллионер, сказала на это Катька, зубочистки купить не может…

Христианский нервничал, много и возбужденно говорил об отделении нашей группы от фирмы, кажется, испортил отношения с Гошей и больше почему-то не заикался о присоединении к «Ближневосточному курьеру», – очевидно, блистательный Иегуда Кронин недвусмысленно послал его к чертям.

Получалось, что мы не за то боролись, а вот за что – было пока неясно нам троим. Все мы ждали светлого будущего, непонятно только – откуда.

Рита кое-что знала, но не говорила нам, а только намекала.

Однажды, когда в обеденный перерыв мы потягивали кофе из увесистых чашек «Ближневосточный курьер», Рита шепотом поведала, что Иегошуа, оказывается, Апис наш, не одну фирму уже основал и пережил. Фирмы его сгорают, компаньоны разоряются, а Гоша, как птица Феникс, возрождается из их пепла.

– Ну и что? – спросила я.

Катька переглянулась с Ритой и сказала мне:

– За что я тебя люблю, дуру: чистый ты человек в бухгалтерском деле…

Оглянувшись вокруг, Рита шепотом же посоветовала нам сидеть тише воды и ниже травы, потому что Гоша человек в высшей степени опасный.

Катька кивнула с посвященным видом, а я, будучи действительно чистым и даже девственным человеком в области бухгалтерского учета, ничего не поняв, отхлебнула кофе из чашки и, поставив ее на стол, машинально прочла опоясывающее чашку заглавие: «Тысячи их, абсурдных маленьких миров…»

Вечером, после работы, с противогазом на боку я поехала через весь город на занятия рава Карела. Как и в прошлый раз, с трудом отыскав улицу Рахель Имену, я долго бродила в темноте по стройке, выискивая проход в переулочек, и когда наконец нашла и вышла к дворцу мавританской архитектуры и увидела мощную прямую, словно декорационную, пальму у фонтана, то минут пять стояла и смотрела, как волнуются и трепещут ее листья под театрально ярким светом из окон дворца. Потом взбежала по внешней, полукругом, лестнице на второй этаж и толкнула дверь.

Я опять немного опоздала. Пробралась к свободному стулу возле Гедалии и села.

Рав Карел – красивый, изящный, рокочущий и поющий – был сегодня в ударе.

– «Помни, что сделал тебе Амалек на пути, когда выходили вы из Египта. Как он встретил тебя на пути и перебил позади тебя всех ослабевших, а ты был изнурен и утомлен, и не побоялся он Бога…»

Я наклонилась к Гедалии и прошептала:

– А что, рав Карел повторяет «Первую битву с Амалеком»? Мы ведь уже прошли это…

– Видите ли, – шепотом ответил мне Гедалия, – много свежего народу на курс привалило, и рав Маркс счел целесообразным повторить лекцию… Это отрывок из «Второзакония»…

– «И вот, когда успокоит тебя Господь, Бог твой, от всех врагов твоих со всех сторон, – гремел голос рава Карела, – на земле, которую Господь Бог твой даст тебе в удел для владения ею, сотри память об Амалеке из-под небес, не забудь…»

?

Этой ночью трижды выла сирена. Трижды вскакивали, тащились в наше убежище, заклеивали дверную щель, наработанным уже движением натягивали противогазы. Ныло под ложечкой. Почему-то казалось, на этот раз – все, «скад» с газовой боеголовкой, и непременно в конце концов на Иерусалим, и уж как раз мы тут, на горе, на верхнем этаже… К тому же в этот раз случилось то, что давно должно было произойти: в кастрюльке для чая, поставленной на газ еще до тревоги, выкипела вода, кастрюлька обуглилась, повалил вонючий дым. Мы же были хорошо защищены противогазами и не чуяли ничего. Выскочили в черный дым, чад и ужас соседей – вопли, кашель, ругань, проветривание комнат до утра и так далее. Под утро задремали одетыми.

Утром я поплелась на работу, где у меня стали складываться довольно натянутые отношения с Христианским.

Дело в том, что накануне самым скандальным образом обнаружилось, что я вовсе и не дамочка, набитая соломой.

Нафискалила Катька, которая вдруг, сведя воедино имя мое и фамилию, спросила на всякий случай – а не та ли я, чьи рассказы и повести читала Катька в мятежной своей юности там-то и там-то? Как же, как же, особенно ей запомнилась та повесть, помнишь, где баба рожает от другого… даже читала в метро и ревела до станции «Орехово», потому что как раз в том году тоже подумывала бросать Шнеерсона… Я кисло подтвердила, что – да, было-было, имело место…

У Яши сделалось такое сладкое лицо, что сразу стало очевидным – в фирме «Тим’ак» я не жилец… Минут десять спустя Яша попросил у меня на проверку редактуру очередной брошюры Иегошуа Аписа на тему Исхода из Египта. Исправил «проснулся» на «пробудился», «Ты давал нам все необходимое» на «Ты снабжал нас всем необходимым» и, мурлыкая и оттягивая большими пальцами ремни портупеи, ласково посоветовал учиться чувству слова, хотя уж что там – на нет и суда нет, а жаль: писатель писателем, но ведь и русский язык знать надо…

Я поняла, что Яша вышел на тропу войны.

После работы решила заехать к Грише Сапожникову – посоветоваться. Тот, как обычно, сидел у себя в комнатенке в драной майке, отдувался и правил какую-то рукопись.

– Погоди, я оденусь, – он потянулся к малому талиту, висящему на гвоздике.

– Да ладно, не суетись, – сказала я. – Лучше посоветуй, как быть.

Гриша все-таки надел талит и с чувством исполненного долга почесал голое, поросшее кудрявыми кустиками плечо.

– Что, – спросил он, – допек?

– Допек, – грустно подтвердила я.

Деловым движением вынув из стола бутылку водки, Гриша распечатал ее и налил себе в бумажный стакан.

– Произведения почитать просила? – строго спросил он.

– Просила.

– Давал?

– Нет…

– Значит, бездарно просила! – заволновался Гриша. – Не настойчиво, не истово! Я же учил тебя, дуру!

Я кивала, виновато понурясь. Гриша помолчал, подумал…

– У него есть роман, «Топчан»… – задумчиво проговорил он.

– Знаю…

– Так там в середине – огромная сцена…

– Да, – сказала я.

Мы помолчали. И тут взвыла сирена.

– Мамашу его!.. – проворчал Цви бен Нахум, выдвигая нижний ящик стола и кряхтя вынимая оттуда противогаз в чем-то липком, вероятно в коньяке, с налипшими на стекла крошками.

– Саддам, бля, – продолжал он, подолом талита обтирая противогаз, как буфетчик вытирает половник, перед тем как окунуть его в кастрюлю со щами. – Смотри, как бесится!.. Ну ничего… До Пурима Амалеку беситься… До Пурима осталось…

Мы сидели в противогазах друг напротив друга, в этой крошечной комнатке… Уже не было страшно… Одна только безнадежная усталость и странное ощущение нескончаемости этой, в общем-то, короткой войны.

Гриша налил водки в стакан и, подняв противогаз за рыло так, что тот застрял у него на лбу, как стетоскоп, выпил залпом.

– Боже мой, – сказал он, – как все осточертело… Эта война кретинов… Смотри, в который раз Он напоминает нам: живите как люди, живите же, суки, как люди, не воруйте, не лгите, не лейте грязь друг на друга, – он махнул рукой. – Смотри, они думают, это называется – Саддам, Америка, ООН, то-се, прочая муйня. Кто-то кого-то бомбит, противогазы, «скады-шмады»… А это просто Он в который раз дал нам по жопе… Напомнил… И что?! А ничего… Отпразднуют в Пурим победу

над Амалеком и снова примутся воровать, мошенничать, лгать и хватать друг друга за грудки… И столько тысяч лет!.. Теперь скажи мне – ты встречала более тупой народ, чем мы?.. И какого хрена ты ходишь со своим лицом! – вспылил вдруг Цви бен Нахум. – Я же учил тебя: ты дамочка, дамочка, набитая соломой!

– Гриша, – сказала я гудящим в противогазе голосом, – гори оно все, если и здесь нельзя ходить со своим лицом. Тогда уже можно поворачивать в Зимбабве.

Загудел сигнал отбоя. Я аккуратно сняла противогаз, сложила в коробку, затянула ремешки.

– Налей и мне водки, Гриша, – попросила я.

Он посмотрел на меня внимательно и сказал:

– Подожди, я помолюсь и отвезу тебя в Рамот… Ты выглядишь как дохлая корова.

Гриша жил сразу в нескольких местах, вернее, ему негде было жить совсем. Будучи, как многие пьющие люди, человеком редкостного благородства, он оставил бывшей жене и детям прекрасную квартиру в центре Иерусалима, за которую до сих пор выплачивал долг банку – чуть ли не половину своей зарплаты. Сам же скитался по семьям друзей. Впрочем, был у него и некий угол, куда он мог забиться в случае тоски и запоя, – бомбоубежище в одном из домов Рамота. Довольно чистое и, в общем-то, уютное логово с раковиной и унитазом. Гриша лишь раскладушку поставил и приволок плетеную этажерку для книг.

– Разреши я домой позвоню, – попросила я, – успокою своих…

Пока Гриша молился в уголке, я набрала номер своего телефона. Долго не соединялось, потом долго не подходили. Наконец сняли трубку.

– Боря, это я…

– Нет-нет, – ответил незнакомый бас на иврите. – Вы ошиблись. Это семейство Розенталь.

Я ощутила обморочную пустоту в области солнечного сплетения, нечто вроде космической черной дыры, в которую со свистом втягиваются внутренности, и бросила трубку.

Гриша в уголке проборматывал слова молитвы, наконец сказал «амен» и стал надевать рубашку.

– Ну, поехали?

Он был одним из самых гениальных водителей, какие встречались мне в жизни. Доехать мог в любом состоянии, даже когда плохо помнил, куда и зачем едет. При этом машина была послушна его нетвердой руке, как умная лошадь своему тяжело раненному хозяину. При всей своей осторожности я не боялась садиться к Грише в машину. Но Гриша, мнительный, как все алкаши, никогда не забывал добавить: «В моей машине ты в полной безопасности».

Мы вышли на темную улицу, где у тротуара притулился старый Гришин рыдван, всегда забитый какими-то пыльными тряпками, пустыми, катающимися под ногами бутылками, старыми газетами и непарными носками, которые Гриша переодевал во время дождя. Мокрые он развешивал на спинках сидений. Они высыхали до следующего дождя.

Гриша открыл дверцу, и я села вперед, предварительно отпихнув ногой пустую бутылку из-под пива «Маккаби».

– Пристегни ремень, – сказал Цви бен Нахум, – а то полицейские, суки, остановят.

Минут десять мы ехали молча.

Когда, словно вынырнув из-за черного леса, взбежал по горам желто-голубыми дрожащими огнями Рамот, Гриша сказал:

– И запомни: Яша еще не самый отвратительный тип в этой шарашке. Есть по-настоящему опасный человек, от которого действительно надо держаться подальше.

– Ты имеешь в виду Гошу Аписа? – спросила я. – Да я его ни разу в глаза не видела.

– Вот и прекрасно. И сиди там, пока тебя не выгнали. Все равно этой конторе не суждена долгая жизнь.

– Почему? – живо спросила я.

– Потому что она – детище Аписа. – Он помолчал. – А рав Иегошуа, как Сатурн, пожирает своих детей…

Гриша притормозил возле моего подъезда. Я отстегнула привязной ремень и сняла с колен неизвестно откуда взявшийся Гришин носок с идиллической дыркой на пятке, которую хотелось немедленно заштопать.

– Спасибо, Гришенька, – сказала я, перед тем как выйти из машины.

– Будь здорова, корова, – ответил он растроганно, – видишь, я говорил тебе: в моей машине ты в полной безопасности, – и, искоса взглянув на меня, добавил: – В любом смысле…

?

– Приближаемся! – время от времени возбужденно шептала мне Рита. – Неуклонно приближаемся к половому акту…

Но приблизиться вплотную к половому акту в романе «Топчан» так и не получилось, потому что как раз в эти дни фирма пошла свистеть. Это чисто ивритское выражение, и я с особым удовольствием калькирую его на русский наш, ненасытный до нового язык, потому что выражение это вызывает у меня следующую ассоциацию: так детский шарик, вырвавшись из рук надувавшего его человека, начинает, как живой, метаться по комнате, со свистом выпуская воздух, пока не затихнет где-нибудь под столом безжизненным лоскутом.

Так вот, контора пошла свистеть. И если развить ассоциацию, можно добавить, что Иегошуа Апис, без устали надувавший фирму в течение трех лет, собственной рукою вытащил затычку, благодаря которой до сих пор фирма

«Тим’ак» держалась в довольно округлом состоянии. Короче: рав Иегошуа Апис продал газетку «Привет, суббота!».

Собственно, рабочее утро в тот день, как пишут в таких случаях, не предвещало… Как обычно, проходя автобусной станцией, я подала шекель моему нищему; как обычно, он пожелал мне здоровья и счастья.

В своей кабинке я в который раз застала реб Хаима, тычущего в клавиатуру компьютера то одним, то другим бледно-зеленым указательным пальцем. Физиономия над люминесцентно-травяным свитером имела необыкновенно важное выражение всплывающего со дна утопленника. В который раз я машинально поздоровалась, хотя уже знала, что с Хаимом здороваться – против ветра плевать. Я поздоровалась, он не ответил, я осталась в дурах. И, как обычно, разозлившись, сказала:

– Будьте любезны, подите куда-нибудь вон!

Он поднялся и, колеблясь, как водоросль, ушел в кабинку к Яше.

Минут сорок я невольно слушала их архитектурные разработки на тему остекления балкона в квартире Хаима.

– Вот смотри, – увлеченно говорил Яша, – здесь – дверь. Так? Если перенести стенку сюда, то ты имеешь выход в коридор отсюда. Но не за то боролись. Предлагаю тебе выгородить кладовку, вот так…

В это время в зал вкатилась крошечная, в половину человеческого роста, женщина с папкой в руках. Искала она, очевидно, Яшу. Сквозь проем кабинки я видела, как указал ей в нашу сторону один из сотрудников «Привет, субботы!». Заказчица покатилась в указанном направлении, заглянула робко в Яшину кабинку и вдруг вскричала на весь зал удивительно звучным, наполненным, я бы даже сказала, оперным контральто:

– А эта гнида что тут делает?!

И не успели мы все понять, что происходит, как они уже дрались с реб Хаимом, обнявшись, для религиозного издательства, довольно-таки тесно.

Все бросились разнимать, отдирая тощего реб Хаима от воинственной карлицы, мы с Катькой выволокли наконец бурно дышащую женщину в коридор, где она нам и поведала, обмахиваясь папкой, что это вторая уже с утра драка ее с реб Хаимом, а первая произошла недалеко отсюда, у телефонного автомата, где реб Хаим бесконечно долго нудил по телефону, не пуская ее сказать два слова папе, чтобы тот проверил «или выключен газ». Когда вконец возмущенная женщина спросила «или есть у него совесть», эта гнида зеленая, закрыв ото так ладонью трубку, высокомерно заявляет: «А вы сидели в отказе, были в лагерях?» Так что слово за слово, ну она и вцепилась в его свитер и давай колошматить…

– Вот это вы напрасно, – заметила Катька. – Это такая страна идиотская, что обозвать можно как угодно и кого угодно, хоть члена кнессета, хоть главу правительства, но когда руки распускают – этого здесь не любят…

– А что вы принесли? – спросила я, кивнув на рукопись.

– Да роман это папин, воспоминания об гражданской войне, – она махнула рукой. – Нет, я где эта гнида сидит, туда не отдам!

И без папиного романа полузадушенная Мариной дилогией, я с облегчением проводила заказчицу к выходу, а вернувшись в зал, застала грандиозный скандал между равом Пурисом, редактором «Привет, субботы!», и бледным Христианским.

– Ты для меня – ноль, понимаешь, ничто! – кричал рав Пурис как раз в тот момент, когда я вошла. Он употребил для этого ивритское слово «клум», по-моему, означавшее больше, чем ничто, больше, чем ноль, в какой-то степени это слово имело оттенок чудовищной, космической пустоты.

Рав Пурис, маленький и изящный, как разгневанная примадонна, много чего еще кричал на иврите, употребляя незнакомые мне идиоматические выражения. Пейсы его развязались на затылке и упали на грудь, как рассыпавшиеся пряди спившейся прачки.

Христианский же… Удивительная вещь: Яша выглядел подавленным. Сделав унижение ближнего одним из самых острых, самых сладостных своих развлечений, сам он так и не научился с достоинством сносить унижение. В сущности, Яша оказался совершенно незащищенным человеком.

И тогда из своей кабинки выскочила Катька, савеловская девочка, одержимая еврейской жаждой социальной справедливости, – мутант, неизбежный в условиях Галута.

– Ты чего орешь? – негромко спросила она рава Элиягу Пуриса на хорошем иврите. – Чего ты пасть свою раззявил? При чем Яша к вашей вонючей газетенке? Тебе же сказано – Апис вас продал, никого не спрашивал. При чем тут Яша?

Рав Элиягу рванул с лица очки и, тыча ими в Катькину сторону, совсем уж неразборчиво для моего бездарного уха закричал что-то о засилье «русской мафии».

У Катьки дрогнуло лицо.

– Держите меня! – сверкая глазами, приказала она тихо по-русски. – Ой, вот теперь крепко меня держите, чтоб я ему пейсы не выдрала.

Мы с Ритой навалились на нее справа и слева, затащили в Ритину кабинку, и пока растерянные сотрудники «Привет, субботы!» собирали вещи и расходились по домам, она, сверкая глазами, переругивалась с равом Пурисом, то и дело порываясь сбросить нас с Ритой и идти выдирать тому пейсы.

Наконец мы остались вчетвером – Хаим смылся куда-то еще в начале скандала. Рита включила наш чудесный электрический чайник, похожий на взмывающий в небо лайнер, и, когда он закипел, сама заварила всем чай. Яше – отдельно в его кошерную чашку, как он любит: два пакетика, без сахара.

– Печенья бы хорошего, – мечтательно пробормотала Рита, – что-то забыл нас Всемирный еврейский конгресс…

Христианский на это промолчал.

– Бедный рав Элиягу, – сказала вдруг Катька. – Здорово я ему нахамила?

– Еще бы, – заметила Рита. – Это уж как водится у тебя. Человек работу потерял, у него одних дочерей одиннадцать штук…

– Хорошо, что вы меня держали, – вздохнула Катька. – Ничего, я извинюсь перед ним… Черт, здесь с человеком и помириться как следует невозможно. Ни тебе обнять, ни поцеловать…

– А знаете что, господа? – встрепенулся вдруг Яша. – Это даже хорошо, что от нас отшелушилась «Привет, суббота!». И без нее мы прекрасно можем существовать.

– На чем же? – спросила я ядовито. – На дилогии Мары Друк «Соленая правда жизни»? Кстати, вчера она принесла еще сто восемьдесят страниц, вследствие чего дилогия плавно переползла в трилогию.

– На здоровье! – довольно отозвался Христианский. – Она за это заплатит, она уже внесла задаток… Нет-нет, говорю вам, господа, – мы еще выплывем.
А Сохнут с его великолепными брошюрами о таможенных правилах, а сборник советов по эротике? Это же золотая жила! К тому же мы издаем редчайший по тематике журнал «Дерзновение». Не пора ли перевести его издание на коммерческие рельсы?

Он вдохновлялся все больше и больше, щурился, кивал орлиным носом по сторонам.

– Да что нам Гоша, что нам, в конце концов, перепады настроений Еврейского конгресса! Не зато боролись! У нас остался Бромбардт, в конце концов, а старик Бромбардт, ей-богу, не чужд филантропии!

– Кто не чужд филантропии? – холодно переспросила Катька. – Миллионер, который зубочистку купить жадится? Не забывайте, что заказы из Сохнута и прочих злачных мест добывал Апис как знатный отказник. Не тешьте себя иллюзиями. – Она саркастически подчеркнула: – Гос-по-да, мы больше нерентабельны, а Бромбардт, выкладывающий из кармана две тысячи долларов в месяц за аренду помещения, он, конечно, скотина, но не дурак, я подозреваю.

После этой скептической тирады мы с Ритой пригорюнились, как-то сразу припомнив, что Катька-то наша степень имеет в одной из сложных областей не то статистики, не то кибернетики…

– Чепуха, – заметил Яша небрежно, – придется прочесть тебе пару лекций на тему издательского бизнеса. Сомневаюсь, правда, что ты способна воспринять хоть десятую часть. Но, голубушка, надо же пытаться развивать свои мыслительные возможности…

?

Назавтра стало известно, что Бромбардт (наш старик Бромбардт, не чуждый филантропии) отказывается платить за помещение. То есть он, возможно, готов платить и дальше, но только в том случае, если компаньон его Иегошуа Апис вместе с главным редактором хевры Христианским представят подробный отчет о проделанной работе – в днях, наименованиях заказов и суммах, полученных от заказчиков.

– И прочая социалистическая бредень, – откомментировал Яша. Все утро он гоношился, закатывал долгие тирады на темные для меня бухгалтерские темы и нервно оттягивал ремни портупеи большими пальцами.

– Яш, да представь ты ему, суке, отчет! – вспылила Катька. – Давай быстренько набросаем! Пусть подавится.

– Ты не в курсе! – зашипел на нее Яша. – И не лезь, ради бога, в это дело!

К полудню выяснилось, что исчез Апис. То есть сначала он был где-то тут, но найти его не представлялось никакой возможности. К вечеру стало известно, что рав Иегошуа Апис вылетел в Лондон по делам Всемирного еврейского конгресса.

– Так, – тяжело обронил Христианский. Весь день он был молчалив и выглядел потрясенным настолько, что по ошибке выпил чаю не из своей кошерной чашки, а из Катькиной, белой, с надписью «Ближневосточный курьер». Сиротливым и одиноким остался Яша Христианский стоять на юру, и все наши попытки взбодрить его оставались безуспешными.

Вечером мне позвонила Рита.

– Да не может он представить никакого отчета, – сказала она, – как ты не понимаешь! Половина заказов проходила вне всякого учета…

– Как это? – тупо спросила я.

– Да так. Заказы добывал Апис, он же стряпал текст на нужную тему, ты, милая моя, придавала этому бреду пристойные очертания, я набирала, Катька разгоняла на компьютере…

Я молчала, пытаясь постичь смысл ее слов.

– Погоди-ка, – сказала я наконец, – получается, мы занимались преступной деятельностью?

– Да, – сказала Рита просто и мужественно, – но мы – честные люди.

Дня два еще мы старательно изображали издательскую деятельность. Рита вяло набирала роман Христианского «Топчан», неуклонно приближаясь к сцене полового акта, я редактировала трилогию Мары Друк «Соленая правда жизни», те новые сто восемьдесят страниц, которые она принесла пару дней назад.

Новая часть Мариной эпопеи содержала совсем уж фантастические подробности: полет валькирий по ночному небу города Черновцы и буквы Святого Писания, вспыхивающие на стене над головой секретарши жэка; тут были и благородные американцы, производящие на дому операцию по обрезанию крайней плоти всем желающим, жокеи, скаковые лошади, прогулочные катера, антисемиты, антисемиты, антисемиты, и прочая, прочая, прочая…

Кроме того, по заказу Медицинского фонда врачей – выходцев из России я завершала редактуру сборника «Народные средства лечения». Сидела, уставившись в абзац, озаглавленный «Помощь при удушении»: «Осторожно обрежьте веревку, ремень или платок, при помощи которого несчастный удавился. Придерживая затылок, вынесите тело на свежий воздух, приложите к пяткам горчичники и поставьте несчастному клизму с солью и мылом…»

Несколько раз приходила беременная секретарша Наоми, прохаживаясь по залу, как унылая лошадь по скошенному пастбищу…

Катька откровенно слонялась без дела. Ее бескомпромиссная натура не позволяла ей бессмысленно убивать время.

– Чего ты там царапаешь? – спрашивала она меня. – Брось! Все равно завтра срок уплаты за аренду зала. Бромбардт требует отчет, Яшка отчета не представит. Бромбардт не заплатит. «Курьер» вышибет нас отсюда и будет прав. Потом ты напишешь повесть «Конец фирмы «Тим’ак». Мы все там будем фигурировать…

Яша метался. Грузный, томный, в портупее сотрудника госбезопасности с кобурой под мышкой, он срывался среди дня и мчался выяснять отношения то в совет директоров, к тому времени окончательно распавшийся, то в какие-то другие конторы. Всплыла фигура, до сих пор сокрытая от наших взоров, – адвокат фирмы «Тим’ак» Шрага Бедакер. Он тоже требовал отчета о деятельности хевры, ибо неожиданно обнаружилось, что из оборота фирмы каким-то образом выпало триста тысяч долларов.

– Сумма немаленькая, – хладнокровно заметила на это Рита.

– Гад! – мрачно проговорила Катька. – Он подставил Яшу и смылся! – И с чисто русской обреченностью добавила: – Яшка сядет…

– А неплохо б ему посидеть, – с неожиданной мстительностью в голосе сказала Рита. – А Катька у нас баба сердобольная, будет передачи носить.

– Чего здесь носить, – возразила Катька, – в этой идиотской стране преступников кормят, как у нас шахтеров в санаториях.

К вечеру появился Христианский, осунувшийся, с воспаленными красными глазами, с торчащим носом. На Яшу было больно смотреть. По всему видать было, что душа его рвалась в рай, а ноги – в полицию.

– Апис не звонил? – спросил он.

– Откуда? – спросила я. – Из палаты лордов?

– Знали бы вы, господа… – Он не договорил, махнул рукой.

– Знаем, знаем, – с суровой прямотой сказала Катька. – Давай я чайку тебе налью. Где твоя долбаная чашка…

В этот момент появился завхоз «Ближневосточного курьера» и объявил, что опечатывает помещение. А если хевра «Тим’ак» хочет вывезти свое оборудование, то нам следует поторопиться: на все про все он готов дать три часа.

Мы заметались, как ошпаренные тараканы. Первым делом я схватила чайник Всемирного еврейского конгресса (о подсознание, о Фрейд!) и папку с рукописью Мары Друк «Соленая правда жизни».

Христианский воскликнул:

– Эвакуируйте журналы! – указывая на штабеля журналов «Дерзновение», лежащие повсюду. – Имейте в виду, это библиографическая редкость! Это раритет! Растащат!

– Кому они на фиг сдались, – сказала Катька. – Выбросить могут, это да.

Мы принялись вытаскивать в коридор пачки журналов «Дерзновение».

– Постойте! – сказала Рита. – Бред какой-то. Чем мы заняты? Надо вывозить компьютеры! Яша, что вы бегаете? Позвоните Ляле, чтоб приехала на «танке». Перевезем все в контору на Бен-Иегуду.

– И позвоните этому раздолбаю Пушману! – закричал Христианский. – Пусть приходит стулья свои таскать! Секретарь, конгрессмен, мать его…

Через полчаса приехала Ляля на «танке», прискакал ошалевший Фима Пушман, и эвакуация имущества фирмы «Тим’ак» продолжалась полным ходом.

В разгар спасательных работ появился заказчик из Меа Шеарим – толстый, бородатый, из тех, что носят талиты поверх шубы, – пейсы, закрученные штопором, просились в бутылку, – и стал требовать, чтобы Яша закончил

заказанную им брошюру о значении шабата.

Яше ничего не оставалось делать, как сесть за не вынесенный еще компьютер доделывать брошюру. Толстый заказчик уселся в проходе между кабинками на собственность Еврейского конгресса – стул, подлежащий выносу, и, задумчиво наматывая на указательный палец локон пейсы, стерег Яшу, чтоб тот не смылся.

– Яша, – спросила я на бегу, – куда деть Мару?

– А пошла б она к чер-р-р-тям собачьим! – прорычал Христианский.

И в эту минуту взвыла сирена воздушной тревоги – последней воздушной тревоги за эту войну.

Я надела противогаз и, схватив в обе руки пачки журналов «Дерзновение», побежала к выходу. Из-за ограниченного обзора в противогазе я опрокинула толстого заказчика из Меа Шеарим и повалилась сверху, запутавшись в его пейсах и мягкой бороде. Он пытался стряхнуть меня с неменьшим омерзением и ужасом, чем если б ему на спину упал с потолка тарантул.

Конгрессмен Фима Пушман старался поднять нас, тем самым совершенно затруднив ситуацию. Мы барахтались в узком проходе между кабинками, среди рассыпанных журналов «Дерзновение», сирена выла, заказчик страшно ругался, проклиная фирму, Яшу, Еврейский конгресс, правительство Израиля и меня с моим противогазом.

И тут в зал влетел миллионер Бромбардт, красный, как все альбиносы в минуты потрясений, с розовыми глазами и расстегнутой ширинкой.

– Стоять!! – заорал он по-английски. – Не сметь!! Грабеж!! Оборудование фирмы наполовину оплачено мной! Я подам в суд на ваш чертов Еврейский конгресс! – И дальше уже я плохо понимала, потому что Христианский в ответ тоже закричал что-то по-английски – и тоже что-то насчет суда и адвоката.

Вывалянный в пыли заказчик из Меа Шеарим закричал, что Яша обязан закончить брошюру о значении шабата, иначе он не отдаст деньги из рук в руки, как договаривались, а будет оформлять заказ путем официального договора.

Услышав о деньгах «из рук в руки», Бромбардт совсем обезумел и завопил: «Так вот что я оплачивал столько месяцев!» – дальше все происходило как в примитивных дерганых фильмах дочаплинской эпохи.

Бромбардт, схватив подвернувшуюся ему под руку папку с трилогией Мары Друк, со всей силы огрел Христианского, орудуя трилогией как лопатой.

Христианский пал на карачки, как прирезанная жертвенная корова. Слетевшая с головы его черная кипа совершила плавный полукруг, наподобие бумеранга. Бромбардт размахнулся еще раз, но тут очнувшаяся Катька с криком «Он убьет его!!» налетела на миллионера; вырвала из рук его трилогию и запустила ею вслед выбегающему из зала Бромбардту. Тяжело кувыркаясь, летела по залу трилогия Мары Друк «Соленая правда жизни», роняя листы, как убитая птица – перья… Тут не мешает заметить, что к этой минуте на шум сбежалось изрядно сотрудников «Курьера», и над их небольшой толпой реяла серебристая седина блистательного Иегуды Кронина.

То, что сочинению Мары Друк нашлось применение, в точности соответствующее тому, что родилось в моем раздраженном воображении, поразило меня необычайно. Я увидела в этом руку Божественного провидения и с сожалением подумала, что уж если этому суждено было свершиться, то лучше бы в свое время Яше заключить со мной то пари, насчет арии Фигаро, потому как у меня рука все-таки куда легче Бромбардтовой.

– Соберите Мару! – строго приказал Христианский, поднимаясь и отряхивая колени. – Вы с ума сошли, немедленно соберите Мару, она внесла задаток!

Катька, агрессивная, как разносчица кружек в пивном баре, пошла грудью на публику, приговаривая: «Очистить помещение! Давай, давай, вали, тут не цирк…»

Пушман подал Христианскому кипу, тот отряхнул ее, надел и вновь уселся за брошюру о значении шабата.

Когда наконец заказчик ушел и все мы остались в своем интимном кругу, когда было вынесено все, что можно и должно было вынести, и загружено в «танк», Христианский проговорил, томно тронув кобуру под сердцем:

– Считайте, этому типу сегодня повезло. Я мог его изувечить. Просто жаль старика.

После чего он обернулся ко мне и добавил:

– А вы, радость моя, можете снять противогаз. Как в том анекдоте. – Хозяйским глазом окинув помещение, он сказал: – Ну… Кажется, все… Пушман, конгрессмен вы мой, сколько чашек вы раскокали, трудясь?

– Ерунда, нисколько, – встрепенулся Фима, – три.

– Хорошо, Бромбардт оплатит…

В эту минуту открылась дверь и перед нами, уже измученными событиями дня, появился рассыльный с двумя увесистыми пачками отправленных Фимой по адресам бандеролей.

Христианский застонал и схватился за голову. Фима смутился и пробормотал:

– Странно, неужели я перепутал адреса?

– Распишитесь кто-нибудь, – плачущим голосом попросил Яша. – Пушман, когда-нибудь я пристрелю вас, идиотина!

С улицы поднялась Ляля, доложить, что все погружено, стулья привязаны сверху и можно ехать в мозговой центр фирмы на Бен-Иегуду.

Мы спустились на улицу, и тут выяснилось, что для меня в машине нет места, а главное – нет во мне никакой необходимости.

– Можете идти домой, – разрешил Яша устало, уже сидя в машине рядом с Лялей, – рабочий день окончен. И ради бога, что вы обнимаете весь вечер этот чайник?

– Ах да, – спохватилась я. – Вот, возьмите. – И попыталась всучить Христианскому чайник через окно.

– Берите его себе, – сказал Христианский, – и дело с концом.

– Но как же… Ведь это собственность Всемирного еврейского конгресса…

– Берите, берите, – перебил меня Яша. – Не за то боролись. Еврейский конгресс не обеднеет. Кроме того, подозреваю, что Бромбардт не выплатит нам жалованья, а тем более вам, ведь я не подписал с вами договора. Считайте, что вы честно заработали этот жалкий чайник… Собственно – красная цена всей вашей деятельности…

«Танк» взрыкнул, развернулся и медленно попер вверх по переулку. Навстречу ему, петляя, ехал мужик на велосипеде. Через всю грудь у него, как лента ордена Почетного Легиона, висела собачья цепь, замкнутая увесистым замком.

Я повернулась и, прижимая к груди чайник, пошла привычной уже дорогой мимо центральной автобусной станции.

Мой нищий – издалека высокий, статный – приставал к прохожим, тыча им в бока, как саперной лопаткой, протянутой твердой ладонью. Я подошла и положила в эту негнущуюся ладонь один из двух оставшихся у меня шекелей.

– Бриют ва ошер, – торжественно, как всегда, пожелал он.

– У тебя дети есть? – спросила я вдруг с идиотской сентиментальной улыбкой.

Нищий взметнул мохнатую бровь (так в окне утром взлетают жалюзи), внимательно оглядел меня с головы до ног и раздельно проговорил:

– Если ты думаешь, что за твой паршивый шекель я должен задницу тебе целовать, то ты ошиблась.

(Все правильно, сказала мне Рита через пару дней. Ты пыталась вовлечь его в неслужебные контакты, он тебя отбрил. Пойми, у них совершенно другая ментальность. Его дело протягивать руку, твое – класть в нее шекель. При чем тут дети? Что за сантименты русской литературы?.. Но если это сильно тебя мучает, могу успокоить: его дети привозят папу по утрам на «Ситроене» на место работы, а вечером увозят с выручкой…)

Утром следующего дня, попивая кофе из чашки «Ближневосточный курьер», я просматривала газету и рассеянно слушала радио. До Пурима оставались считаные дни, войну торопливо сворачивала чья-то невидимая могучая воля. Это было заметно даже тем, кто вообще ничего не понимал в происходящих событиях: иракцы десятками тысяч сдавались в плен с неприличной поспешностью. Создавалось впечатление, что Амалек сам торопится завершить драму к Пуриму.

«Вчера, – продолжал диктор, – выступая на заседании Всемирного еврейского конгресса, Ицхак Шамир заметил…»

«Бедные… – подумала я, любовно посматривая на ворованный чайник, – как же они заседают там, без чая…»

Во дворе заиграла шарманочная мелодия «Сказок венского леса». Это приехала машина с мороженым. Я развернула газету на странице объявлений. Я всегда с жадной надеждой просматривала эти страницы, лелея безумную мечту о том, что где-то кому-то, возможно, нужен на небольшую ставку русскоязычный литератор.

«Ищу душевную серьезную с целью передачи дом в наследство. Семьдесят, в хорошем состоянии». Я вздохнула и отложила газету.

Позвонила Рита.

– Катька считает, – сказала она, – что мы должны подать на фирму в суд. И это справедливо.

– Ой, – я отхлебнула из чашки кофе. – Какой еще суд, я не умею… Меня даже нищие обижают.

– От тебя ничего и не требуется. Только присутствовать и кивать. Вместо подписи можешь поставить крестик. В общем, в двенадцать мы ждем тебя на углу Абарбанель, возле цветочного лотка.

– Ты веришь, что нам заплатят?

– Конечно! – уверенно сказала Рита. – Ровно за три дня до суда. Здешние мошенники не любят судиться… – Она вздохнула и вдруг проговорила совсем другим голосом: – Знаешь, иногда Он напоминает мне одного из тех сумасшедших коллекционеров, которые уже не могут остановиться в своей страсти, даже когда какой-нибудь экспонат коллекции и не очень нужен или совсем не нужен… – Она помолчала. – Ну скажи, скажи, – зачем Ему нужна была фирма «Тим’ак»?

– Ну… – я задумчиво повертела на колене пустую чашку «Ближневосточный курьер» и в который раз машинально прочла: «Тысячи их, абсурдных маленьких миров…»

Пока Рита с Катькой заполняли бланк заявления и препирались о чем-то с чиновницей, я шаталась по пустому коридору здания суда, потягивая через соломинку воду из бутылочки. Начиналась весна, время хамсинов, требовалось много пить, и мне уже не казались странными эти бутылочки с минеральной водой повсюду – в транспорте, в магазинах, на улицах. Пить, много пить – единственное спасение от здешнего суховея.

За столом в коридоре сидела грудастая истица. В мочке каждого уха у нее просверлено было по три дырки, и оттуда гроздьями свисали сокровища Али-бабы.

Она терпеливо пыталась заполнить бланк заявления, широко разведя мощные колени в цветных мужских бермудах. Сквозь распиравшуюся ширинку, как тесто из кастрюли, лез белопенный живот.

– Помоги мне написать! – приветливо улыбаясь, сказала она мне.

В иврите часто употребляют повелительное наклонение. Это не означает хамства.

– Извини, – сказала я, – я недостаточно хорошо умею писать…

– С ума сойти, – заметила она. – А по виду ты грамотная. Дай-ка хлебнуть воды из твоей бутылки, что-то горло пересохло.

Я вспомнила коронную Ритину фразу насчет «их» ментальности и подарила грудастой истице всю бутылку.

Суд нам назначили через два месяца.

Мы вышли на улицу. На остановке автобуса стоял старый араб в куфие – белоснежном платке, перетянутом вокруг головы толстым двойным шнуром. На нем была серая рубаха до пят, похожая на женское платье, пропыленные ботинки и на плечах – обыкновенный мужской пиджак.

– Идиотская страна, понимаешь, – сказала Катька, – страна бездарных чиновников. Должны были снять с нашего счета в банке сто семьдесят шкалей за Надькин садик, ошиблись, приписали лишний ноль, сняли тысячу семьсот… Теперь мы в глубоком минусе, жрать нечего, пока разберутся, то да се, можно с голоду подохнуть… Надо идти полы мыть… – Она добавила безучастно: – Я повешусь… Я просто повешусь…

Подошел автобус. Я протиснулась в самый конец, где на длинном сплошном сиденье маячило свободное место. Спотыкаясь о сложенные коляски, солдатские баулы, кошелки, я пробралась в конец и плюхнулась между молодой парочкой израильтян слева и пожилой четой совсем свежих (судя по разговору) и очумелых еще репатриантов справа.

Мальчик-солдат слева, видно, возвращался домой на субботнюю побывку. Он сидел в полной амуниции, с автоматом, вокруг сильной загорелой шеи – пропотевший шнурок с личным номером, в ногах длинный, плотно набитый баул. Девочка принарядилась. Встречала его, наверное, на автобусной станции, готовилась к встрече – прическа, отглаженная блузочка, отполированные ногти. А он устал. Он смертельно устал. Минуты три они тихо переговаривались, потом он задремал. Сидел, клевал носом.

– Глянь, какой лес! – сказала по-русски старуха справа. – Прямо среди города…

– Не забудь, все деревья здесь рукоприкладные, – отозвался муж.

Девочке надоело так сидеть. Ее влюбленность, с утра, по-видимому, подогреваемая ожиданием, не давала ей покоя. Она тихо погладила своего мальчика по руке. Он вздрогнул, инстинктивно сжал автомат и вскинул голову.

Она улыбнулась ему успокаивающе, и он опять прикрыл глаза, задремал…

– Ничего, – проговорил старик справа. – Лет через десять здесь привьется наша культура…

Старуха кивала, перебирая крупные янтарные бусы на морщинистой шее.

Девочка слева опять осторожно потянулась рукой к своему мальчику. Вот дурища, подумала я, искоса наблюдая за ней, ну дай человеку поспать, он же вымотан, как пес… Она дотянулась ладошкой до его автомата и вороватым движением нежно погладила приклад.

– Война кончилась!! Точно – в Пурим!!

Меня разбудили вопли сына. Он прыгал по комнате – тощий, в трусах на слабой резинке, подпрыгивал, пытаясь рукой достать потолок.

По радио передавали подробности капитуляции Ирака. Я поднялась и поплелась в ванную.

– Хаг самеах!! – заорал сын мне вслед.

– Ура, – отозвался отец со своего дивана, – мы победили, и враг бежит, бежит, бежит.

– Противогазы порезать?! – радостно спросил балбес.

– Я тебе порежу… Сложи аккуратно в коробки и поставь на антресоли до следующей войны.

Зазвонил телефон. Это был Гедалия, староста группы с занятий рава Карела Маркса.

– Хаг самеах, – торопливо проговорил он. – Я обзваниваю всех, чтобы сообщить: сегодня вечером состоятся занятия. Приходите обязательно!.. Рав Маркс

специально приурочил лекцию к празднику.

– А тема?

– Простите, я должен многих обзвонить… У меня нет ни минуты…

Я вышла на балкон. Внизу по травянистому косогору бегали соседские ребятишки, с утра уже наряженные в карнавальные костюмы, – две девочки лет десяти, обе в костюмах царицы Эстер, одна в ярко-красном, с позолотой, другая в белом – юбки длинные, пышные, на головах короны. Бегали с упоительным визгом, приподнимая пальчиками подолы юбок. За ними гнался мальчик лет восьми в костюме старика Мордехая – чалма на голове, расшитый цветами кафтан. Он безостановочно трещал пластиковой трещоткой, какими вечером в синагоге дети будут трещать во время чтения «Свитка Эстер» – при упоминании злодея Амана, потомка Амалека…

Еще одна яркая группка визжащей мелкоты, волоча по косогору противогазы, наперебой подражала вою сирены.

Впереди на горизонте штрихом обозначалась на фоне голубого утреннего неба башня университета на горе Скопус.

«Гар ха-Цофим, – мысленно проговорила я, обнаруживая, что мне уже привычно называть это место именно так, – Гар ха-Цофим…»

Центр города был уже запружен карнавальной толпой, шелушащейся серпантином, сверкающей фольгой, прыскающей струйками конфетти.

На углу улицы Короля Георга трое музыкантов – скрипка, флейта и аккордеон – залихватски бацали тоскливо-сладкую мелодию песни бессарабских евреев; вокруг плясали.

В небольшом кругу плясали грузный пожилой дядька в маске Саддама Хусейна с присобаченными к ней кудрявыми пейсами и очень толстая тетка в костюме божьей коровки. Автобусы еще ходили, то и дело застревая посреди толпы.

Продираясь сквозь кипящую водоворотами людскую кашу, я вдруг увидела, как в дверях еще открытой «Оптики» мелькнул люминесцентно-травяной свитер, над воротом которого колыхнулась зеленовато-призрачная физиономия. Почудилось, подумала я, наверное, это один из тех страшных человекообразных манекенов, от которых я шарахаюсь по сей день.

(Забегая вперед, скажу, что не привиделось. После крушения фирмы «Тим’ак» могущественный Гоша Апис выволок из-под обломков своих людей. Хаима, например, он пристроил в солидную «Оптику» на улице Яффо, где тот протирает бархоткой запылившиеся стекла очков. Тут возникает у меня банальная ассоциация с понятием «непыльная работка», но я удержусь. Реб Хаим, пожизненный пенсионер государства Израиль, любую работу работает тяжело. Так что пошлая ирония тут неуместна.)

Словом, я опять опоздала на занятия. Виновато улыбнувшись раву Карелу, проскользнула на свободный стул рядом с Гедалией и села.

Сегодня рав Карел был в особенном ударе. Он не садился даже, а возбужденно прохаживался от окна к своему креслу. Руки его, с большими смуглыми певучими кистями, ни минуты не находились в покое.

– Что читаем мы? «И пришел Амалек, и воевал с Израилем в Рефидим. И сказал Моисей Иегошуа: выбери нам мужей и пойди сразись с Амалеком. Завтра я буду стоять на вершине холма с посохом Божьим в руке моей. И сделал Иегошуа, как сказал ему Моисей… а Моисей, Аарон и Хур взошли на вершину холма. И было, как поднимет Моисей руку свою, одолевал Израиль, и как опустит руку свою, одолевал Амалек…»

Отказываясь верить ушам своим, я наклонилась к Гедалии и спросила шепотом:

– Гедалия, неужели мы все еще не можем закрыть тему войны с Амалеком?

– Ничего удивительного! – живо откликнулся тот. – Рав Карел решил повторить тему, так как сегодня мы празднуем двойную победу над Амалеком!

– Значит ли это, что поднятые или опущенные руки Моисея выигрывали или проигрывали войну? – страстно вопрошал рав Карел и сам отвечал: – Нет, но это значит, что если Израиль обращает взоры свои к Небу и подчиняет сердце Богу,

то он побеждает Амалека, если же нет – падает перед ним…

Он вдруг умолк, несколько раз быстро прошелся от окна к креслу и обратно, потом обернулся к нам и сказал:

– Вероятно, многим из вас кажется странным, что я так упорно возвращаюсь к теме войны с Амалеком? Но это очень важная тема, и с течением жизни здесь вы это поймете… Еще немного… еще две, три войны – и вы это поймете… – Он опять умолк, остановился, встряхнул головой и продолжал: – Дело в том, что Амалек – нечто большее, чем какая-то конкретная группа людей, чем национальность или народ… Это – взбесившийся человек, променявший свой божественный лик на гримасу сатаны…

– Боюсь, придется брать такси, – вздыхал Гедалия, когда после занятия мы с ним пробирались в бурлящей толпе. – А ведь надо еще успеть к чтению «Мегилат Эстер»… – С щегольской вельветовой его кепки свисали три витые ленточки серпантина, плечи были усеяны кружочками конфетти.

Мимо проходила стайка гогочущих подростков с огромными воздушными шарами и плакатом, на котором в ужасно непристойной позе был изображен иракский диктатор. У самих подростков самым неприличным образом были подвязаны противогазы, ими были, так сказать, опоясаны чресла. Один из подростков, чуть старше моего сына, проходя, прыскнул в меня из баллончика какой-то сверкучей дрянью, впрочем безобидной: скатываясь, она не оставляла следов на одежде, а второй захрюкал и сказал громко:

– Меирке, это довольно пожилая девочка.

Третий добавил:

– Извини, ба…

– Паршивец, – сказал Гедалия, стряхивая с моего плеча конфетти. – Вот и мой сейчас где-то шляется…

Отовсюду неслась музыка. Она то грохотала тяжелым роком, то вилась бессарабской рыдающе-гикающей мелодией, то приседала гармоникой – тум-

балалайкой, то завывала витиеватой, горловой восточной песней.

Две девушки в костюмах ангелов – одна хорошенькая, другая толстая и некрасивая – стояли перед закрытыми дверьми магазина дамского белья и, закатывая глаза, посылали толпе пассы. У хорошенькой одно из крыльев было помято и криво висело – очевидно, кто-то из парней уже слегка прижал этого ангела в порыве раскаяния.

На углу улиц Штраус и Меа Шеарим прямо перед нами вынырнула процессия с факелами. Это были дети лет десяти-двенадцати.

Они несли носилки с балдахином, под которым важно восседал мальчик в костюме царицы Эстер. Впереди носилок шли двое пацанов в костюмах первосвященников – один в белом, другой в черном облачении. Они торжественно несли факелы перед собой и что-то пели, довольно бодро, хотя и несколько однообразно.

– Можете не сомневаться, – сказал Гедалия, когда мы проводили взглядом процессию. – Той песне, что они пели, добрая пара тысчонок лет…

Он скосил на меня глаза и спросил:

– Отчего вы невеселы?

– Я потеряла работу.

– Это достаточно грустно, и все-таки сегодня нужно веселиться… Помните, за несколько дней до начала войны мы с вами возвращались с занятий и вы были так напряжены и взвинчены тяжелым ожиданием… А сегодня! Посмотрите на эту толпу – нельзя бояться. Нельзя бояться, нужно только верить… Ох, извините, такси… Будьте здоровы! – Уже из окна машины он крикнул мне: – Хаг самеах!

Такси медленно поплыло в волнах толпы… А я долго еще брела в текучей толпе, задирая голову на расцветающие розово-бордово-зеленые клубни салюта и без конца повторяя себе: «Ну вот, ты среди своего народа… и что же?»

Назавтра праздник продолжал грохотать, стрелять фейерверками, искриться бенгальскими огнями, плясать в карнавальных водоворотах.

Утром мои собрались гулять.

– А ты разве не идешь с нами? – спросил Борис.

– Сделайте одолжение, оставьте меня на один день в покое…

– Грубая ты, – сказал сын.

– Я безработная, – сказала я. – Все безработные грубые. Им не перед кем выслуживаться.

Они долго наряжались, дети нацепили маски, выцыганили у меня десять шекелей, наконец ушли.

Как только за ними захлопнулась дверь, позвонила Катька. Говорила в обычной своей манере – правду в лицо.

– Ужаснее всего, что не заплатили тебе, – сказала она. – Я просто ночами не сплю из-за тебя. Мы-то с Риткой не пропадем, мы толковые… А ты ж ничего, кроме своих рассказов, не умеешь… Ты с голоду сдохнешь…

– Не переживай, – ласково сказала я. – Ты-то как?

– Да что – я! – воскликнула она, по-прежнему расстроенно. – Я завтра на работу выхожу.

– Ой, Катька! – обрадовалась я. – Ты устроилась?! Куда?!

– Я-то тебе скажу, так ты ж, дура, и не поймешь… В общем, меня взяли по моей специальности в Банк Израиля… Ты знаешь, что это такое? Молчи, – перебила она сразу, – не знаешь. Это не рядовые банки, которые твою капусту туда-сюда перекачивают, это – экономический мозг страны… Я в России мечтала работать в такой же конторе, но меня не взяли, потому что я там была евреем.

– Ка-атька!.. – повторяла я. – Ой, Ка-атька…

– Положили для начала четыре тыщи в месяц, и рука устала подписывать в договоре разные бланки: машину они оплачивают, командировки за границу, долларовый счет открывают, ну и прочая бодяга… Идиотская страна!.. Так вот, учти, – сказала она строго. – Мы тут посоветовались со Шнеерсоном и решили отстегивать тебе тыщу в месяц…

Я засмеялась и сказала:

– Катька! Я так тебя люблю. Не переживай, я не пропаду. Меня давно зовет убирать виллу соседний старичок с чудным именем Ави Бардугу.

– Не ходи, – сказала Катька, – человек с фамилией Бардугу обязательно станет за задницу хватать… А знаешь, – она оживилась, – я вчера зашла в мозговой центр фирмы, на Бен-Иегуду. Проходила мимо – дай, думаю, зайду… Представляешь, сидит за компьютером наш Яшка, одинокий, грустный, нос повесил, кругом – грязь, бумажки какие-то валяются, обертки от вафель… Ну, я взяла веник и стала подметать. Подметаю, а он рассказывает, как к нему приходили консультироваться из одной крупной фирмы, то-се… ну, ты его знаешь… Я молчу, подметаю… О Гоше он помалкивает, но думаю, не зря он там сидит, думаю, Гоша его из скандала вытащил – может, решил, что Яшка еще пригодится… Кстати, Христианский сейчас сам открывает издательскую фирму. Сам будет набирать, сам издавать… Я спрашиваю – где заказы достанешь? Да у меня есть уже крупный заказ, говорит, – трилогия Мары Друк. Сейчас она дописала еще четыреста страниц и переименовала ее в сагу. Так что Яшка всю жизнь будет издавать сагу «Соленая правда жизни»…

После разговора с Катькой я стала думать о Яше Христианском и распалила себя почти до состояния нежного сострадания. Тогда я решила позвонить ему. Подняла трубку мудрая Ляля.

– Здравствуйте, Ляля, – сказала я. – Что поделывает Яша?

– Яша ушел в милуим[2 - Милуим – краткосрочная служба резервистов, может быть от нескольких дней до трех месяцев.], – проговорила Ляля трагическим тоном, и это звучало как «Яша ушел в монастырь…».

В дверь позвонили, я открыла. На лестничной площадке стоял человек в маске, в красном, жестко торчащем в стороны парике. У ног его в плетеной корзине шевелились, дышали, подрагивали влажными лепестками розы неестественно-прекрасного персикового цвета.

– Хаг самеах! – сказал он, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и протягивая какую-то квитанцию. – Вот тут распишись.

– В чем дело? – спросила я, не в силах оторвать глаз от этих роз. – Что это? – и механически расписалась.

– Это твой мотэк тебе послал, – сказал рассыльный, отдавая мне копию квитанции.

Я представила, сколько может стоить эта корзина и сколько дней (три? пять?) можно жить на эти деньги, и задохнулась.

– Он что – спятил?! – крикнула я по-русски. Рассыльный сбегал уже вниз. –
Я работу потеряла!! – заорала я по-русски, не в силах сдержаться.

– Хаг самеах! – крикнул опять рассыльный снизу…

Я подняла корзину, из которой тяжелой, избыточно-сладкой волной ударил в лицо мне запах роз, и зашла в квартиру.

Несколько минут я металась по комнате, терзая ворот свитера и рыдающим голосом выкрикивая достаточно оскорбительные и стародавние обвинения в адрес моего мужа.

Наконец обмякла и увидела, что до сих пор сжимаю в кулаке копию квитанции; развернула ее и – о, этот проклятый, естественный для ребенка и такой мучительный для сорокалетнего человека процесс узнавания букв другого языка и складывания их в слова – прочла наконец адрес – наш, и имя получателя: Шо-ша-на Ро-зен-таль…

Прежде чем я что-то поняла, я успела еще со старательностью тупого ученика прочесть приписку на обороте квитанции: «Роза моего сердца, хоть мы

расстались год назад…» Я охнула, выскочила на балкон в дурацкой надежде, что рассыльный еще не уехал, как будто он мог стоять под балконом и пережидать мою получасовую истерику. Потом вернулась в комнату и аккуратно поставила чужую корзину с цветами повыше, на шкаф.

И в эту минуту я вдруг ощутила – тут принято писать «всем существом», но точнее сказать «всем телом» – всем телом я ощутила, что меня-то, в сущности, нет… Так, болтается нечто в пространстве этой страны, этого города, этой чужой квартиры с чужим телефоном, в которой как бы продолжают жить реальные люди с реальной фамилией Розенталь…

И вот тогда впервые за все эти месяцы эмиграции, войны, тягучих ночных сирен, безденежья и крушения идиотских надежд – повторяю, впервые – меня потряс настоящий ужас такой разрывающей силы, что на секунду я физически ощутила, как рука некоего вселенского хирурга вынимает, вытаскивает, высвобождает мою парализованную бездонным ужасом душу из никчемного обмякшего тела…

Долго звонил телефон. Наконец я сняла трубку.

– Дорогая моя! – с чувством проговорил пьяный теплый баритон Гриши Сапожникова. – Дорогая моя, я звоню, чтобы поздравить тебя с нашим великим, нашим радостным праздником Избавления! – По интонациям его одинокого, даже в трубке, голоса чувствовалось, что Цви бен Нахум уже набрался, как Всевышний ему велел. – И в этот день, дорогая моя, в этот необъятно прекрасный день… – он поднял голос до высот проповеди, – когда Господь опять отпиздил Амалека!..

В этом месте голос его сорвался, и мы одновременно заплакали в трубки и минуты две поочередно всхлипывали. Наверное, он сидел один в своем бомбоубежище, и ему, как и мне, некого было стыдиться.

– Тебе есть где спать сегодня? – спросила я растроганно. – Приходи к нам спать.

– Спасибо, не беспокойся, – сказал он, судя по звукам, высмаркиваясь. – На сегодня меня берет к себе семья Мары Друк…

И добавил после крошечной паузы:

– Ничего… Все наладится… Все наладится, к чертовой матери…

Я вышла на балкон. Внизу по зеленому косогору бродил бешеный Левин папа в противогазе. Я узнала его по дырчатой авоське в руке. Он поднял противогазью харю и крикнул мне приятным баритоном:

– Из России?

– Леву Рубинчика знаете? – продолжала я, перегнувшись через перила.

Он растерялся было, но тут же встрепенулся и крикнул радостно:

– Я его па-апа!!

И в который раз опускающееся куда-то за наш дом солнце залило диковато-розовым светом белый камень домов, и вся гигантская панорама города заскользила, побежала под тенями сквозных бегущих облаков.

Дальше темнел зелеными склонами рамотский лес, торчала башня отеля «Хилтон», левее на горизонте округло лежала Масличная гора с карандашиком монастыря. А дальше – взгляд нащупывал нежно синеющую туманную кромку Иорданских гор…

И я почувствовала минуту, ту самую интимную минуту, когда удобно обратиться…

Я проглотила слюну и заискивающе пробормотала куда-то в сторону Иорданских гор: «Господи!..»

И замолчала. Собственно, мне нечего было Ему сказать. Суетливо объяснять ситуацию, которую Он сам вроде бы прекрасно должен видеть? Как профессиональный литератор, я знала, что подобные вещи недопустимы. Поэтому только вздохнула и повторила: «Господи! Вот такие дела…»

Вдруг вспомнила, как из окна автобуса Тель-Авив – Иерусалим я увидела паровозик, к которому был прицеплен один-единственный вагон, кажущийся с моста игрушечным, и как этот смешной состав бойко мчал по рельсам.

– Господи, – проговорила я. – Ты вывел меня из гигантской державы, по которой днем и ночью грохотали огромные поезда. Ты привел меня в Свою землю… Неужели Ты позволишь моим детям голодать?

«Ну, это, положим, ты врешь, – возразил кто-то внутри меня. – Дети, положим, не голодают…»

– Это я вру, Господи!! – торопливо перебила я себя. – Дети не голодают… а просто… просто… дай заработать!

«О!» – произнес кто-то внутри меня удовлетворенно, и я сама почувствовала, что это «о!» – то, что надо, что это, по крайней мере, честно.

– Дай заработать! – повторила я страстно, и мне уже было плевать, как я выгляжу: прозрачна я стояла пред Ним, как стеклышко, – со своей собачьей тоской, дешевыми просьбами и украденным чайником Всемирного еврейского конгресса. – Слышишь, дай заработать! Дай заработать, Господи!! Дай за-ра-бо-о-о-та-а-ать!!!

Я забыла сказать, что из окна моей съемной квартиры видно кладбище на холме Гиват-Шауль.

Холм Гиват-Шауль кажется меловым от памятников – множества белых, крошечных отсюда, кубиков, полукруглыми рядами опоясавших его. А вокруг над поросшими густым хвойным лесом холмами вздымается бело-розовый зубчатый венец Иерусалима. Так уж расстелено пространство здесь, в Иудейских горах, что в ясную погоду – а она довольно часто ясная – видны даже очень далекие холмы. Отсюда – странный оптический эффект, благодаря которому возникает ощущение необъятности этой, в сущности, очень маленькой земли… Одной из самых маленьких земель на свете…

Словом, из моего окна видно кладбище, где когда-нибудь я буду лежать.

Ну что ж, «похоронена в Иерусалиме» – это звучит нарядно.

Это красиво, черт возьми! Это вполне карнавально.

Рассказы

Большеглазый император, семейство морских карасей

Семену Гринбергу

Омерзителен этот мир, Сеня… Омерзителен… Порой такая тошнота подкатит, особенно из-за своей рожи в зеркале – хоть неделями не брейся… Нет, не хочу я сказать, что ненавижу здесь всех и каждого. Наоборот – отдельно к каждому я вполне прилично отношусь. Но вместе взятые, они сильно дешевеют. Оптовая продажа.

Меня что особенно бесит – эта вот их восточная расхлябанность. У них здесь мосты обваливаются и вертолеты с отборными солдатиками сталкиваются просто так, от жары, от душевной простоты… Простые они…

Ты видал, как мужики здесь целуются? Не педики, нет, – отцы семейств. Друг друга по щечке треплют. У нас в России, Сеня, кто тебя за щечку мог бы взять? Разве что пятерней да затылком об забор – так ведь то другие обстоятельства, я ж не об этом…

Мне дочь, Иринка, говорит – это в тебе болезненное самолюбие ворочается.
А при чем тут самолюбие? Мне здесь обижаться не на кого. Наоборот – я, пока за стариками ходил, знаешь, сколько людей перевидал. Какие характеры, какие судьбы!

Был у меня один такой, безногий, красивый человек. Капитан. Войну закончил в Берлине. Привез овчарку из псарни Геринга. Она по-русски не понимала, так он, знаешь, говорил с ней на идиш. Зигфрид – звали овчарку. Откликалась на идиш. «Гей ци мир, а гитер хинделе». Хороший был человек. И за ним особо ухаживать не требовалось, сам приноровился все делать. Лихо на кресле разъезжал, хоть в цирке выступать. Я ему только мыться помогал, потому что намыленному инвалиду трудно из ванны выбираться. А ноги ему не на войне оторвало, это

потом, гораздо позже отняли, на почве диабета. Да, отличный мужик был. До последней минуты в своем уме – это, Сеня, дорогого стоит.

Вот у меня после него одна старуха была, милая такая бабка, но с сильно отъехавшей башкой… Так она почет любила. Бывало, притащу ей из супера кошелки с продуктами, а она мне: «Рядовой Корнейчук, сдать вахту, отчитаться за смену». Это она меня Корнейчуком звала. Мой дед Залман Меирович, которого гайдамаки саблями построгали, в гробу переворачивался.

Я у нее посменно – то днем, то ночью дежурил. Днем еще ничего, а ночи тяжелые. Однажды задремал на полчасика, а она с кровати упала, все лицо в кровь расшибла. Сижу я, холодные примочки ей делаю, а она вдруг с таким стоном жалобным: «Почему матросы не приветствуют меня?»

Я от жалости чуть не заплакал, Сеня. Ну, думаю, старость, сучья ты доля… Бросил тряпку в тазик с водой, вытянулся во фрунт, честь отдал, да как гаркну: «Матросы Краснознаменного Балтийского флота выстроены для приветствия Фани Моисеевны Фишман! Р-ра-а! Р-ра-а! Р-ра-а!..»

И смех и грех…

Это потом уже, на похоронах, мне ее дочь рассказала: семью у старухи в Виннице немцы расстреляли. Пока сама она по комсомольской части какой-то транспорт сопровождала… Да всей семьи-то – мать и годовалая дочка. Ну и она в партизаны ушла, а потом каким-то образом к действующей армии прибилась и до конца войны благополучно провоевала, причем то ли стрелком, то ли сапером – какое-то вполне мужское военное дело. Так-то…

Нет, я не жалуюсь. Уход за стариками – дело как дело… Что тяжело – не успеешь к кому-то привыкнуть, а он – брыки…

Ну ничего, я отдохну. Помнишь, как у Чехова: мы отдохнем, мы отдохнем!.. На нарах я отдохну. Мне мой адвокат – какая женщина, Сеня! – тонкая, будто струна, юбкой играет – длинной, цветастой своей цыганистой юбкой, – сидит, разговаривает, а сама юбку с боку на бок ворочает, – нам, говорит, самое главное, добиваться штрафа. Только не заключения. Нет уж, говорю, геверэт Зархи, вы, пожалуйста, добивайтесь именно заключения. Отдохнуть охота…

Я… это, Сеня… водяры притащил… Лежи, лежи, я к медсестре за стаканами сбегаю… Постой, да вот, в тумбочке у тебя одноразовые стаканчики есть. Ничего, водка дезинфицирует… Ну, за твое выздоровление!

…Потом, когда я на иврите стал боле-мене лепетать, меня бросили на местные, что называется, кадры. В общем, как любят говорить в таких случаях евреи – со мной считались.

Вот у меня Моти был, Сеня! Инвалид Армии Обороны Израиля. Пенсию получал агромадную. Ни в чем не нуждался, но, главное, настоящий мужик. Представь себе – хилый старик, согнутый в дугу артритом. Из-за горба мог только в землю смотреть. Но – отчаянный водила! Пятьдесят лет за рулем. Ему в машину армейские умники такое ортопедическое кресло соорудили. Он как-то так ловко укладывал в него свой горб и за рулем сидел – как огурчик, смотрел прямо. Весь день по городу носился, и главное – все сам! Он, знаешь, в четырнадцать лет террористом был, в подпольной организации «Лехи». У его отца ювелирная лавка была, через нее-то наши ребята связь осуществляли. А он связной… Да, Моти, Моти… никаких хлопот с ним не знал. Я ему больше для компании нужен был, ей-богу. Например, он по концертам меня таскал. Такой меломан, что ты! И главное – русскую музыку обожал. Его родители в начале века сюда из России приехали, и он давно уже по-русски забыл. Понимал, правда, кое-что, сам не говорил. Но музыку, особенно русские романсы, без слез – не мог. Помню, потащил он меня на концерт в «Вицо». Там девочка, меццо-сопрано, исполняла знаменитую «Калитку». Сама тщедушная, бровки домиком, смотреть не на что, а голосина – густой, волнистый, так и вытягивает душу. Ты хоть помнишь этот романс, Сеня? «А-а-т-ва-а-ри по-тихо-оньку кали-и-тку…». Смотрю, а у моего террориста слеза под носом висит. «Кружева, – поет, – с милых уст отведу…» Что может быть на свете лучше русского романса, Сеня? А вот тюрьмы, я слышал, здесь получше. Даже радио, говорят, есть… Вот и буду слушать по радио русские романсы…

Другой еще старик у меня был, Марком звали. Я его называл Марко Поло, потому что он из дому сбегал. И вот что любопытно: прекрасно готовил, стол сам сервировал – обалдеешь. Бывало, приду к нему утром, а у него уже к завтраку на две персоны накрыто, да как: тарелочки одна на другой, салфеточки льняные, ножик к вилочке, ложка к ножику… А вот имя свое забывал… Как сбежит – ищи-свищи, находили его и в Хайфе, и в Актах. От нацистов убегал, он ведь всю войну в Берген-Бельзене у газовых печей грелся. Выжил, потому что за по?ляка себя выдавал.

Я с ним должен был с утра до часу сидеть, а в три приходила племянница. На эти два часа у нас с ней уговор был: я его запирал в квартире и ключ в почтовый ящик бросал. Однажды он таки уговорил меня не запирать его. Толково так, убедительно объяснял. Я и думаю: действительно, что ж я такого разумного человека, как зверя в клетке, держу!.. Ты уже понял, Сеня, что он смылся, как только я за угол дома завернул?..

Нашли его дня через два – вон где! – в Кацрине, на Голанах.

Так что с работы меня выгнали. Но нет худа без добра. Я за эти два месяца тьму картинок написал: пейзажей, этюдов. В религиозном районе Меа Шеарим, в Иерусалиме, там очень живописно… Приезжал с утра на автобусе, расставлял этюдник… Вот их ругают все, ультраортодоксов. Да, там забавные такие людишки шастают: мужики в лапсердаках и с пейсами, бабы в париках и чулках, в самую жарынь… Но, знаешь, Сеня, очень доброжелательно там ко мне относились. Подходили, заглядывали в этюдник, языками цокали… Однажды стою я так, пишу пейзаж. Подходит ко мне пацан лет десяти, с пейсами, в черной ермолке, все как положено. Спрашивает:

– Ты что рисуешь?

– Да вон, видишь, – говорю, – дом тот, и дерево, и синагогу…

– А сколько будет стоить эта твоя картина?

– Ну… если хорошо выйдет, много будет стоить, если плохо получится – то нисколько.

Проходит час, полтора… стою, работаю. Вдруг случайно обернулся, – а пацан так и сидит за моей спиной, на спиленном бревне. Я удивился:

– Ты чего сидишь?

Он отвечает:

– Жду. Если картина твоя плохо выйдет, ты мне ее отдашь…

Дай-ка я тебе чуток налью… Да почему – нет-то, почему – нет? Больничными порядками это не запрещено, да? Ну вот, на донышко плесну… Погоди, вот я тебе поближе поставлю… тебе ж не с руки, загипсованному… Будь здоров, Сеня!

А потом я устроился в еще одну фирму по уходу за стариками. Ее один наш держал. Страшная сволочь. Настоящий кровопийца. Я его звал Петр Кишиневович. Он вообще-то был крупный специалист по замораживанию овечьей спермы… Чего ты ржешь, Сеня? Между прочим, довольно редкая специальность. Потом он эмигрировал в Новую Зеландию и, по слухам, чудовищно там разбогател, хотя, надо отдать ему справедливость, и тут не голодал. Нет.

Одна особенность у него была – ненавидел и презирал все человечество. Буквально.

Бывало, у него не отпросишься, если, скажем, спину прихватило. Он любил говорить: болезней бывает только две – беременность и похмелье. Все остальное – просто нежелание работать.

Но вот что в нем было – потрясающий нюх на опасность. На всякую опасность: как на налоговую инспекцию, так и просто на мордобой. Помню, когда он мне как-то особенно нахамил, я сгреб его за шкирку, Петра Кишиневовича, и спрашиваю: «Ну? Яйца тебе оторвать или башку отвинтить?» Я ж, Сеня, человек неуправляемый, особенно когда выпью. Он побагровел и вежливо так отвечает: «Прошу прощения, вы меня не так поняли. Мне яйца дороги как память».

Подлый был человек, но простодушный. Сочетал в себе простоту обозной шлюхи со сметкой полкового интенданта. Говорил: «В ваших интересах, господа мойщики трупов, чтоб старики не сразу дохли». Вот скажи мне, Сеня, зачем открывать фирму по уходу за стариками, если ты их так ненавидишь?

А я, знаешь, к старичью отношусь нежно. Все мы там, бог даст, будем. Помню, месяца через два после приезда нашу группу с курсов иврита повезли на дешевую экскурсию в Эйлат. Ну, дешевая она и есть дешевая. Вместо отеля какой-то кемпинг, автобус допотопный с испорченным кондиционером. Но ведь море-то, Сеня, не дешевеет. Горы-то уценке не подлежат, правильно я говорю?

А как спустились мы в этот огромный подводный аквариум, прямо на дно моря… тут все обалдели, замерли, оцепенели. Вот стоишь ты как бы на самом дне, а вокруг медузы парят, водоросли колышутся, стайки золотистых рыбок шныряют… Вдруг из синих глубин выплывает на тебя красная, в черную крапину, рыбина и ворочает плавником, и таращится, и сквозь высоченные водоросли туда-сюда сигает… Там еще такая рыбка была, не очень заметная, но как-то чудно в каталоге называлась, я прочел и опознал ее: «Большеглазый император, семейство морских карасей». Такое нежное и беззащитное имя…

И был в нашей группе один симпатичный старичок. Он совсем ошалел в этом аквариуме. Стоит посреди зала, на палочку опирается, лысой головой ворочает и вдруг как выдохнет: «Жить хочется!» А сам в этих очках-линзах как раз и похож на ту рыбу, «большеглазый император, семейство морских карасей»…

Нет, себе я больше не налью. Я, Сеня, когда выпью, неаккуратным становлюсь, тяжелым человеком. Не надо. К тому же я под судом, тоже учитывай…

У нас, знаешь, в подмосковной деревне, куда меня в детстве на лето вывозили, был один мужик, алкоголик и драчун. Звали его Николаша-Нидвораша. Если напивался – любой разговор, любой самый мирный вопрос кончал мордобоем.

И односельчане его перестали на праздники приглашать, а если сам являлся – то не заговаривали с ним, даже в сторону его не смотрели, и гостей предупреждали, чтоб – ни слова!..

Однажды пришел Николаша-Нидвораша на соседскую свадьбу. Сидел, сидел, угрюмо молчал, потом тяжело вздохнул. «Ну, – говорит, – сиди не сиди, а начинать надо!» И с этими словами перевернул стол со всею выпивкой и закуской.

Вот и я – влипаю в такие ситуации, аж самому тошно. Взять недавно. У нас в подъезде одна семья живет. Они, знаешь, негры. Не наши эфиопские евреи, а самые настоящие негры. То ли иностранные рабочие, то ли посольская обслуга… У них двое чудесных ребятишек, девочка лет семи и мальчик, подросток, лет двенадцати. Во дворе с ними никто не играет, дети их дразнят. Ну, дети ведь жестокий народишко. Неблагополучная семья… Мать у них почему-то дважды пыталась покончить с собой.

Возвращаюсь на днях после работы, поднимаюсь по лестнице, вижу мальчика. Стоит, плачет. А я ж по-английски ни тпру ни ну, иногда разговорник листал.

Так что, я его полуанглийским, полужестовым способом спрашиваю – что стряслось, мол? Пацан что-то лепечет и показывает ожоги на руках: мать, выясняется, пыталась себя сжечь, а он ее погасил, вызвал «амбуланс»… Расстроился я, Сеня, ужасно. Обнял его, прижал к себе и чувствую – надо сказать парню что-то простое, ясное, мужское. «Ты, – говорю, – должен стать сильным!»

Парнишка отпрянул, вытаращил на меня глазенки и с таким отчаянием головой закивал: «Йес! Йес!» – и бросился от меня вниз по лестнице.

Захожу домой и рассказываю дочери, Иринке, всю эту историю. А она вдруг как захохочет, да так истерично. «Ты что, – говорю, – спятила? Чего тут смешного?» А она согнулась от хохота, всхлипывает. Наконец успокоилась, говорит: «Знаешь, пап, что ты этому несчастному ребенку присоветовал? Что за фразочку ему выдал? «Ты должен стать белым!» – вот что ты ему сказал…»

А потом уж мне по-настоящему повезло. Это я про то, что встретил Дани.

У нас в подъезде живет один парень, Рони. Очень преуспевающий страховой агент. Вообще-то у него и вилла есть, только он ее семье оставил, а сам ушел и в нашем доме квартиру снимает. Веселый такой, разбитной парень. Страшно коммуникабельный, профессия такая. И чудовищно способный к языкам. У кого он только русских словечек не нахватался! Каждый раз какой-нибудь новый перл.

Ну вот, стою я однажды на остановке, жду автобуса, так как мой калека-«фиат» опять в нокауте. Тут Рони на своем «крайслере» подкатывает, высовывается из окна, рожа, как всегда, сияет. «Михаэль, – кричит, – казел, ваше блягародия! Падем баб тряхать!» Это у него значит – садись, подвезу. А в машине говорит: «Михаэль, хочешь заработать? У меня есть одна клиентка, очень богатая дама. Не миллионерша. Миллиардерша. Обладательница огромной коллекции произведений искусства. Купила недавно на аукционе «Сотбис» фрагмент какого-то древнеегипетского барельефа, четвертый век до нашей эры. Недорого – тысяч восемьдесят долларов. И лежал этот барельеф на тумбочке в холле, ждал, когда повесят. Как назло, в доме у них что-то с электропроводкой

случилось, вызвали монтера. Тот встал на стремянку одной ногой, а другую для удобства на тумбочку поставил, на восемьдесят тысяч долларов. Так что, геверэт Минц ищет сейчас реставратора, русского».

«Почему именно русского?» – спрашиваю.

Рони мне подмигнул: «Михаэль, зачем придуриваешься? Потому что наш возьмет за эту работу вдесятеро дороже. А геверэт Минц раскошеливаться не любит».

Ну, что тебе сказать, Сеня. Привез он меня на эту виллу… Собственно, там не вилла, а имение. Небольшой такой замок, английский сад, аллея пальм, оливковая роща, луг, конюшни, ну и всякие теннисные корты, подземные гаражи… Короче – одна из пяти самых богатых семей в стране. Чего там мелочиться.

Взглянул я, Сеня, на этот барельеф, и в глазах у меня потемнело. От него три куска остались и какое-то крошево… Стою, смотрю и молчу. Геверэт Минц сухонькая такая, невзрачная немолодая женщина, затрапезно одета, на затылке хвостик аптечной резинкой перетянут. Типичная миллиардерша. Очень вежливая дама. Понимаете, говорит, мне не так денег жалко. Просто как подумаю, что этот фрагмент барельефа в течение шестидесяти веков был в целости и сохранности, а в моем доме рассыпался под ногой болвана. Обидно же. Посмотрите, справитесь ли с этим делом.

И тут, Сеня, меня профессиональная гордость взяла. Ну, думаю, акула! Ты этот свой барельеф можешь сейчас веничком на совок замести и в ведро ссыпать. Только туда ему и дорога. А вслух отвечаю, очень корректно: в том смысле, что если я был хорош как реставратор Пушкинскому музею, то уж вам как-нибудь подойду.

В общем, злость, Сеня, лучший двигатель дела. Два дня я над этими останками сидел. Собрал кусочки, склеил, на металлический каркас с изнанки посадил (работа адова), ну и кисточкой поработал, глазик, там, синий, длинный, египетский, ну как положено. Парочку иероглифов засобачил… В общем, лет через двести египтологи с ума сойдут, расшифровывая…

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Авраам Авину – отец наш Авраам (иврит).

2

Милуим – краткосрочная служба резервистов, может быть от нескольких дней до трех месяцев.

Купить: https://tellnovel.com/ru/dina-rubina/ya-vas-lublu

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить